

ТЭФФИ
1872 – 1952

ТЭФФИ

Трагедия счастья



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Т 97

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

ISBN 978-5-389-13157-6

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

ПРОВОРСТВО РУК

На дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша:

«Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии.

Поразительнейшие фокусы, как то: сожигательство платка на глазах, добывание рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе».

Из бокового окошечка выглядывала печальная голова и продавала билеты.

Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, разбухли, обливались серым мелким дождиком покорно, не отряхиваясь.

У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля.

Стало темнеть.

Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста.

Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон.

— Ни одной дыры! Все серое! В Тимашеве прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар... В Обо-
яни прогар, в Курске прогар... А где не прогар? Где,
я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет по-
слал, голове послал, господину исправнику... всем
послал. Пойду лампы заправлять.

Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог.

— Чего им еще надо? Нарыв в голове или что?

К восьми часам стали собираться.

На почетные места или никто не приходил, или
посылали прислугу. На стоячие места пришли ка-
кие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют
деньги обратно.

К половине десятого выяснилось, что больше
никто не придет. А те, которые сидели, все так гром-
ко и определенно ругались, что оттягивать дольше
становилось опасным.

Фокусник натянул длинный сюртук, с каждой
гастролью становившийся все шире, вздохнул, пере-
крестился, взял коробку с таинственными принад-
лежностями и вышел на сцену.

Несколько секунд он стоял молча и думал:

«Сбор четыре рубля, керосин шесть гривен, — это
еще ничего, а помещение восемь рублей, так это
уже чего! Головин сын на почетном месте — пусть
себе. Но как я уеду и что буду кушать, это я вас спра-
шиваю. И почему пусто? Я бы сам валил толпой на
такую программу».

— Браво! — закричал один из пьяных.

Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и ска-
зал:

— Уважаемая публика! Позволю предпослать
вам предисловием. То, что вы увидите здесь, не есть
что-либо чудесное или колдовство, что противно на-

шей православной религии и даже запрещено полицией. Этого на свете даже совсем не бывает. Нет! Далеко не так! То, что вы увидите здесь, есть не что иное, как ловкость и проворство рук. Даю вам честное слово, что никакого таинственного колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите необычайное появление крутого яйца в совершенно пустом платке.

Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки у него слегка тряслись.

— Извольте убедиться сами, что платок совершенно пуст. Вот я его вытряхую.

Он вытряхнул платок и растянул руками.

«С утра одна булочка в копейку и чай без сахара, — думал он. — А завтра что?»

— Можете убедиться, — повторял он, — что никакого яйца здесь нет.

Публика зашевелилась, зашепталась. Кто-то фыркнул. И вдруг один из пьяных загудел:

— Вре-ешь! Вот яйцо.

— Где? Что? — растерялся фокусник.

— А к платку на веревочке привязал.

— С той стороны, — закричали голоса. — На свечке просвечивает.

Смущенный фокусник перевернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо.

— Эх ты! — заговорил кто-то уже дружелюбно. — Тебе за свечку зайти, вот и незаметно бы было. А ты вперед залез! Так, братец, нельзя.

Фокусник был бледен и криво улыбался.

— Это действительно, — говорил он. — Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а исключительно проворство рук. Извините, господа... — Голос у него задрожал и пресекся.

— Ладно! Ладно!

— Нечего тут!
— Валяй дальше!
— Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительнее. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит свой носовой платок.

Публика стеснялась.

Многие уже вынули было, но, посмотрев внимательно, поспешили запрятать в карман.

Тогда фокусник подошел к головному сыну и протянул свою дрожащую руку.

— Я мог бы, конечно, свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил.

Головин сын дал свой платок, и фокусник развернул его, встряхнул и растянул.

— Прошу убедиться! Совершенно целый платок. Головин сын гордо смотрел на публику.

— Теперь смотрите. Этот платок стал волшебным. Вот я его свертываю трубочкой, вот подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите?

Публика вытягивала шею.

— Верно! — кричал пьяный. — Паленым пахнет.

— А теперь я сосчитаю до трех — и платок будет опять цельным.

— Раз! Два! Три! Извольте посмотреть!

Он гордо и ловко расправил платок.

— А-ах!

— А-ах! — ахнула и публика.

Посреди платка зияла огромная паленая дыра.

— Однако! — сказал головин сын и засопел носом.

Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал.

— Господа! Почтеннейшая пу... Сбору никакого!..
Дождь с утра... не ел... не ел — на булку копейка!

— Да ведь мы ничего! Бог с тобой! — кричала публика.

— Рази мы звери! Господь с тобой.

Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком.

— Четыре рубля сбору... помещение — восемь рублей... во-о-о-осемь... во-о-о-о...

Какая-то баба всхлинула.

— Да полно тебе! О господи! Душу выворотил! — кричали кругом.

В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне.

— Эт-то что? Расходитесь по домам!

Все и без того встали. Вышли. Захлопали по лужам, молчали, вздыхали.

— А вот что я вам скажу, братцы, — вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных.

Все даже приостановились.

— А что я вам скажу! Ведь подлец народ ноне-ча пошел. Он с тебя деньги сдерет, он у тебя и душу выворотит. А?

— Вздуть! — ухнул кто-то во мгле.

— Именно что вздуть. Айда! Кто с нами? Раз, два... Ну, марш! Безо всякой совести народ... Я тоже деньги платил некрадены... Ну, мы ж те покажем! Жжива.

КУРОРТ

Сезон умирает.

Разъезжаются дачники, закрываются ванны и купальни.

В кургаузе разговоры о железной дороге, пароходах, о скором отъезде.

Дамы ходят по магазинам, покупают сувениры: деревянные раскрашенные вазочки, финские ножи и передники.

— Сколько стоит «митя макс»?¹ — спрашивает дама у курносого, с белыми глазами дворника.

— Кольме марка², — отвечает тот.

— Кольме... гм... кольме — это сколько? — спрашивает дама у спутницы.

— Три... кажется, три.

— А на наши деньги сколько?

— Три помножить на тридцать семь... гм... трижды три — девять, да трижды семь... не множится...

— Утомительная жизнь в Финляндии, — жалуется первая. — Целые дни только ходишь да переводишь с марки на рубль, да с метра на аршин, да с километра на версту, да с килограмма на пуд. Голова кругом идет. Все лето мучилась, а спроси, так и теперь не знаю, сколько в килограмме аршин, то бишь марок.

Тяжелее всех чувствует увядание жизни молодой помощник аптекаря.

Каждый четверг танцевал он в курзале бешеные венгерки с молодыми ревматичками, бравшими грязевые ванны.

Каждое утро бегал он на пристань и покупал себе свежий цветок в петличку.

Цветы привозили окрестные рыбаки прямо на лодках, вместе с рыбой, и эти дары природы во вре-

¹ *Митя макс* (mitä maksaa) — сколько стоит (*фин.*).

² *Кольме марка* (kolme markkaa) — три марки (*фин.*).

мя пути любезно обменивались ароматами. Поэтому в ресторане кургауза часто подавалась щука, отдающая левкоем, а розовая гвоздика на груди аптекаря благоухала салакой.

О, незабвенные танцевальные вечера под звуки городского оркестра: скрипка, труба и барабан!

Вдоль стен на скамейках и стульях сидят маменьки, тетеньки, уже потерявшие смелость показывать публике свою грацию, и младшие сестрицы, еще не отваживающиеся.

На стене висит расписание танцев.

Вот загудела труба, взвизгнула скрипка, стукнул барабан.

— Это, кажется, полька? — догадывается одна из сидящих маменек.

— Ах нет, мамочка, кадрили! Новая кадрили, — говорит сестричка.

— Не болтай ногами и не дергай носом, — вмешивается тетенька. — Это не кадрили, а мазурка.

Распорядитель, длинноногий студент, швед, на минутку задумывается, но, бросив быстрый взгляд на расписание, смело кричит:

— *Valsons!*

И вот молодой помощник аптекаря, томно склонившись, охватывает плотный стан дамы, лечащейся от ревматизма в руке, и начинает плавно вращать ее вокруг комнаты. Алая гвоздика между их носами пахнет окуном.

— *Pas d'espagne!* — красный и мокрый, кричит распорядитель, и голова его от натуги трясется.

Выскакивает гимназист, маленький, толстый, в пузырящейся парусиновой блузе. Перед ним, держа его за руку, топает ногами пожилая гувернантка одного из докторов. Гимназист чувствует себя ис-

тинным испанцем, щелкает языком, а гувернантка мрачно наступает на него, как бык на тореадора.

Маленький кадет, обдернув блузу, неожиданно расшаркнулся перед одной из теток. Та приняла это за приглашение и пустилась плясать. К ужасу маленького кадета, тетка проявила чисто испанскую страсть и неутомимость в танцах. Она извивалась, пристукивала каблуками и посылала своему крошечному кавалеру вакхические улыбки.

Помощник аптекаря выделявал такие кренделя своими длинными ногами, что наблюдавший за танцами у дверей старый полковник даже обиделся.

— Поставить бы им солдат на постой, перестали бы безобразничать.

Распорядитель снова справляется с расписанием и призывает всех к венгерке.

Страсти разгораются. Пол, возраст, общественное положение — все ступшевывается и тонет в гулком топоте ног, визгах и грохоте оркестра.

Вот женщина-врач в гигиеническом капоте мечется с двенадцатилетним тонконогим крокетистом; вот две барышни — одна за кавалера, вот десятилетняя девочка с седообразным шведом; вот странная личность в бархатных туфлях и парусиновой паре лягается, обняв курсистку-медичку.

Ровно в час ночи оркестр замолкает мгновенно. Напрасно танцоры, болтая в воздухе ногами, поднятыми для «па де зефир», умоляют поиграть еще хоть пять минут. Музыканты мрачно свертывают ноты и сползают с хоров. Они молча проходят мимо публики, и многие вслух удивляются, как это три человека в состоянии были производить такой страшный шум.

На другое утро томный аптекарский ученик, загадочно улыбаясь, толчет в ступке мел с мятой.

Открывается дверь. Она. Дама, страдающая ревматизмом в руке.

— Bitte... Marienbad...¹ — лепечет она, но глаза ее говорят: «Ты помнишь?»

— Искусственный или натуральный? — тихо спрашивает он, а глаза отвечают: «Я помню! Я помню!»

— Гигроскопической ваты на десять пенни, — вздыхает она («Ты видишь, как трудно уйти отсюда»).

Он достает вату, завертывает ее и потихоньку душит оппопанаксом.

В петличке у него увядшая вчерашняя гвоздика. Сегодня уже не привезли новых цветов.

Осень.

ВЗАМЕН ПОЛИТИКИ

Конст. Эрбергу

Сели обедать.

Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обе-

¹ Пожалуйста... Мариенбад... (нем.)

дом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

— А где же Петька?

— Бог их знает, где они валандаются, — отвечала жена. — В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

— Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э нет, миленький мой, — выпучил глаза капитан. — С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

— А что же вы изволите изобретать?

— Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, изобрету какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

— Папочка, — сказала дочь, — да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

— Да, вы действительно правы, — тактично заметил жилец. — От политики у нас всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник-гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

— Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.

— Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит! Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну, давай тарелку: я тебе котлету положу.

— Отчего кот-лета, а не кошка-зима? — деловито спросил гимназист и подал тарелку.

— Его, верно, сегодня выпороли, — догадался отец.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

— Нет, видели вы дурака? — возмутился удивленный капитан.

— Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

— Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..

— Петя, стой, Петя! — крикнула вдруг сестра. — Скажи, отчего говорят «д-верь», а не говорят «д-сомневайся»? А?

Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:

— А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!

Жилец захихикал.

— Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степанович, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитан совсем растерялся.

— Сонечка! — жалобно сказал он жене. — Выгони этого... Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня.

— Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе в комнату! Сладкого не получишь!

Гимназист надулся:

— Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж я один за всех отдувайся?..

— Нечего, нечего! Сказано — иди вон. Не умешь себя вести за столом, так и сиди у себя!

Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери.

Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, проговорил:

— Это подло — так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!

Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:

— Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.

— Ах, да уж перестань хоть ты-то! — замахала на нее мать. — Слава богу, не маленькая...

Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.

— Ха-ха! Это замечательно, — ликовал жилец. — А я тоже придумал: отчего живу-зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит «я вас люблю». Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист...

— Ха-ха-ха! — заливалась дочка. — А почему Дуб-ровин, а не осина-одинакова?..

Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась.

— Постой, Сашенька! Постой минутку. Как это...
Вот опять забыла...

Она смотрела на потолок и моргала глазами.

— Ах да! Почему сатана... нет... почему дьявол...
нет, не так!..

Капитан уставился на нее в ужасе:

— Чего ты лаешься?

— Постой! Постой! Не перебивай. Да! Почему
говорят «черт-ить», а не «дьявол-ить»?

— Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего па-поч-
ка, а не...

— Пошла вон, Александра! Молчать! — крикнул
капитан и выскочил из-за стола.

Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все
придумывал, что он завтра спросит. Барышня вече-
ром прислала ему с горничной две записочки. Одну
в девять часов: «Отчего обни-мать, а не обни-отец?»
Другую — в одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не де-
вяносто девять копеек-ашка?»

На обе он ответил в подходящем тоне и теперь
мучился, придумывая, чем бы угостить барышню
завтра.

— Отчего... отчего... — шептал он в полудремоте.

Вдруг кто-то тихо постучал в дверь.

— Кто там?

Никто не ответил, но стук повторился.

Жилец встал, закутался в одеяло.

— Ай-ай! Что за шалости! — тихо смеялся он,
отпирая двери, и вдруг отскочил назад.

Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в ру-
ках, стоял капитан. Удивленное лицо его было блед-

но, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.

— Виноват, — сказал он. — Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...

— Что? Что? Изобретение? Неужели?

— Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, обеспокоил... Так — не спалось, — заглянул на огонек...

Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.

ВЕСЕЛАЯ ВЕЧЕРИНКА

I

Старуха Агафья успела уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучер все еще томился, ожидая возвращения барина.

— Скоро одиннадцать, — ворчала Агафья, вытирая толстые, обнаженные по локоть руки и глядя исподлобья на тоскующего парня. — Другой бы матери помог, коли время вышло, а мой только на вечеринки ходить умеет да новые сапоги трепать. И в кого такой вышел! Ведь уродит же Господь!

Ванюшка молчал, хотя речь была направлена прямо против него, так как он приходился Агафье родным сыном. Но ему было не до разговоров. Сегодня Танька, горничная земского начальника, устраивает бал. На балу будет только что выслуживший свой срок солдат Марковкин. Он хочет Таньку сва-

тать, это все знают, но Ванюшка давно решил перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъедет солдат с поломанными ребрами!

Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его белокурые волосы лоснятся от масла; под воротником голубой сатиновой рубашки красуется ярко-розовый муаровый бант, и это сочетание цветов во вкусе мадам Помпадур придает удивительно глупый вид его толстому, безусому и безбровому лицу.

— И куда пойдешь на ночь глядя? — ворчит мать, гремя посудой. — Угощение все равно уж все съедено. Теперь парни, верно, уж драться начали, только даром шею намнут. Раньше двенадцати барин от лесничего не вернется. Пока лошадь уберешь — вот и первый час.

Сын молча вздыхает.

— Чего молчишь-то? Ты вот ленту муаровую у матери выпросил, а думал ли, чего эта лента матери стоила? Я ее, может, к причастию надеть и то жалела, на смертное платье берегла. Барышня-покойница дарила, не знала, видно, что ты в ней на вечеринках, как лошадь, ржать будешь...

Снова молчаливый вздох.

— Думаешь, ленту напялил, так за тебя Танька замуж пойдет? Нет, парень! Не нашему носу рябину клевать — это ягода нежная! Марковкин-то почище тебя.

— Еще ничего не известно, — загадочно разинув рот, ухмыльнулся Ванюшка.

— Как неизвестно? — обрадовалась Агафья, что ей наконец удалось вызвать сына на приятную бе-

седу. — Все отлично известно. Ничего у тебя нету, и в кучеренках-то тебя держат потому, что мать жалуют. Не век же мне тоже в кухарках быть. Скоро ноги протяну. Без меня дня не останешься.

II

Во дворе залаяла собака.

Ванюшка вскочил и, закутав горло шарфом, чтоб не слишком поразить хозяина своим стилем помпадур, пошел убирать лошаадь.

Через десять минут, бодро подскрипывая по твердому снежному насту, бежал он к дому земского начальника.

Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившаяся.

В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир с надписью: «Для приезжаю» («щих» не поместилось).

Ванюшка пересек главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двухэтажного домика, занимаемого земским начальником.

— Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что... Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышел кто из парней...

Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую кадку. Прямо — стена. Налево — лестница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить, с которой стороны он вошел.

Медленно, ощупывая ступеньки руками и ногами, влез он во второй этаж. Здесь тоже оказалось темно, и он долго шарил руками, не находя дверей.

— Не! — решил он. — Кухня у ней внизу. Надо было там нащупать либо выйти и в окошко постучать.

И он, стуча каблуками, боком стал спускаться с лестницы. Он был уже почти в сенях, как вдруг страшный дикий крик, раздавшийся снизу, остановил его.

— Кто здесь? Стой, черт тебя возьми, не то я буду стрелять!..

Ошеломленный Ванюшка замер на одном месте. Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнул огонек.

Мелькнуло испуганное свирепое лицо земского начальника.

— А-а, каналья! Попался! Я тебе покажу! Ты у меня узнаешь, где раки зимуют.

Ванюшка сделал отчаянный прыжок, пытаясь увернуться от могучих рук земского начальника, ловивших его впотьмах...

Бац! Бац! Одна рука крепко держит за шиворот голубую рубаху с помпадуровым галстуком, другая, сжавшись в кулак, дважды въехала в Ванюшкину физиономию.

— Нет, голубчик, теперь не уйдешь!

И, продолжая наколачивать своего пленника, спотыкаясь и кряхтя, он поволок его вверх по лестнице.

Ванюшка молча упирался, медленно продвигался вперед и отчаянно брыкался ногами.

Ш

Ступеньки трещали, каблуки звонко шелкали, и спавшей наверху супруге земского начальника почудилось, будто какая-то взбесившаяся лошадь лезет к ней по лестнице. Барыня зажгла свечку и, испуганно крестясь, сидела на кровати. Дверь в спальню с треском распахнулась.

— Машенька! Вот, рекомендую! — тяжело отдуваясь, торжествовал земский начальник. Он поставил Ванюшку перед изумленной барыней, продолжая держать его за шиворот и изредка потряхивая.

— А хорош молодец? Возвращаюсь от лесничего, смотрю — ворота настезь. Подлые девки со своими балами совсем одурели, ни за чем не смотрят. Завтра всех к черту. Поднимаюсь по лестнице... здравствуйте! Лезет, голубчик! Я его подстерег, дал немножко спуститься да цап за шиворот. У меня не отвертишься.

— Да ты осторожней, Коленька, может быть, у него нож, — плаксиво затянула супруга.

Ванюшка, с перетянутым горлом, молчал, тяжело дыша, и только широко раскрывал рот, как рыба, которую лишили родной стихии.

— Да ведь я... — попробовал было он, но тяжелый кулак, въехав ему под самый глаз, снова отнял у него дар слова.

— Молчать! — заревел земский начальник. — Еще разговаривать! Благодарю Бога, что я полицию не зову. Другой бы сгноил тебя в остроге. Марш отсюда! Чтоб духу твоего не было. И товарищам своим скажи, чтоб дорогу ко мне забыли.

И он снова собственноручно сволок Ванюшку с лестницы, вытурил на улицу и запер ворота на засов.

Оставшись один, Ванюшка пустился бежать без оглядки и только в конце улицы немножко опомнился и огляделся. Пиджак был разорван, из носу лила кровь, лицо горело и ныло. Ванюшка потер нос снегом и захныкал:

— И чего он взбесился, черт окаянный! Что, человек не в ту дверь попал, так его по морде лупить? Нет, это, брат, тоже не показано! За это, брат, тоже ответить можно. Закона такого нету, чтоб народ зря калечить.

Но, вспомнив, что все равно теперь на вечеринку не попадешь — ворота заперты, да и в таком виде куда уж тут, Ванюшка захныкал и, грустно опустив голову, побрел домой.

IV

Двери отворила заспанная и сердитая Агафья.

— Что! Готово! Воротился! У него мать помирает, а он по балам, как лошадь, ржет. У матери поясницу ломит, а ему хоть бы что! Другой бы хоть колбасы кусок с гостей-то принес бы. Натe, мол, вам, мамаша, покушайте. Отец-то, покойник, бывало... — Она зажгла лампочку и, взглянув сыну в лицо, даже при села от изумления.

— Батюшки светы! Родители вы мои долгоногие! Да кто же это тебя так? Тут уж, видно, не один, тут трое либо четверо работало! Эко тебя качает. Ну и нахлестался! Да скажи хоть слово.

Но Ванюшка молча стянул с себя сапоги и, не раздеваясь, лег в постель.

На другой день он проснулся поздно. В печке трещали дрова, Агафья стучала ножом, а косоротая баба, разносившая по городу булки и сплетни, оживленно что-то рассказывала. Ванюшка, не вставая, стал прислушиваться.

— Они, видишь, девки-то, как пошли на вечеринку, ворота-то, стало быть, и не заперли. Под вечерину-то у Картонихи комнату нанимали, земский-то в доме и не позволил.

— Ч-черт! — чуть не вскрикнул Ванюшка.

— Ну, стало быть, разбойнику-то это и на руку. Он наверх-то пролез, все дочистика обобрал, только, значит, барыню собрался резать, а сам-то тут как тут!

«Ишь ты, — думает Ванюшка. — Это, видно, уж после меня кто-нибудь залез!»

— Господи помилуй! — шепчет Агафья. — И какой ноне отчаянный народ пошел!

— Ну, земский его колошматил, колошматил, однако тот вырвался и убежал.

— Уж, верно, их где-нибудь целая шайка, запрятавшись, была. Один не пойдет, — додумалась Агафья.

— Земский Егорку кучера и Таньку обоих вон выгнал. Ну да ей что! Ее вчера за солдата Марковкина просватали...

Со стороны кровати послышался тихий вой.

— Это что же? — удивилась торговка.

— Ванюшка с перепою, — хладнокровно ответила Агафья.

— Разве так уж напился?

— И-и! И не видывала никогда таких пьяных. Что ни спросишь, молчит. Покойник-муж, бывало, на четвереньках домой придет, а за словом в карман не полезет.

— А ты его керосинцем бы помазала.

— Нешто полегчает от керосина-то?

— Еще как! Старуха, Аннушкина мать, что у головихи в няньках, все керосином лечится. Не нахвалится. Как, говорит, натрусь да отхлебну маненько, так меня всю как огнем запалит. Прямо терпенья нет. Всякую боль отшибает. Ничего уж тут не почувствуешь. На Рождестве ее головиха чуть вон не выгнала за керосин-то. Потерлась это она (простудившись была) и сидит в кухне на печке. А головиха все ходит да принюхивается. Вошла в кухню, ну и поняла, в чем дело. Ругалась, ругалась! Вы меня, говорит, подлые, под кнуты подведете, я еще через вас Сибири нанюхаюсь. Упадет, говорит, на старуху спичка, ее как синь-порох взорвет. А я отвечай. Зверь — головиха-то.

— И как ему всю рожу разделали, — с плохо скрытой материнской гордостью говорит Агафья. — Это уж никто, как солдат. Я сразу солдатovu руку узнала. Губища — во! Прямо до полу свисла. Под глазом сивоподтек!

— Поди, по Таньке-то реветь будет, — не без злорадства вставляет торговка. Агафья иронически фыркает:

— Очень нужно! Важное кушанье Танька-то ваша! Персона! Только и умеет, что госпоже тарелки лизать. Мой парень захочет жениться, так лучше найдет. Эдакий парень — ягода наливная!

За дверью, со стороны хозяйских комнат, слышался треск и какое-то глухое рычание.

— Это у вас что же? — любопытно интересуется торговка.

— Это барин чудит, — спокойно объясняет Агафья. — Верно, вчера у лесничего в карты проигрался. Он всегда так, как проиграется. Потому перед барыней ему стыдно, вот он и оказывает себя.

Рычание приблизилось, сделалось похожим на хриплый лай. Наконец дверь распахнулась, и на пороге показалась озверелая, вскочоченная фигура хозяина дома.

— Послать ко мне Ваньку-дармоеда, — залаял он, — я ему покажу, как лошадь без овса оставлять!

Тррах — дверь захлопнулась, и вскочившая Агафья лопочет в пустое пространство:

— Ванюшка хворый лежит!.. Точно так-с! Он за водой ушедши!.. Точно так-с! Сейчас его кликну.

Ванюшка испуганно натягивает сапоги, не попадая в них ногами.

— Господи! — ахает торговка. — Личико-то! Личико-то. Харю-то евонную посмотри!

Ванюшка ринулся во двор.

— Ишь, каким козырем, — ворчала ему вслед Агафья. — На мать и не взглянул. Другой бы земляной поклон сделал. Простите, мол, маменька, что вы меня свиньей на свет родили.

Дверь с треском отворилась, и Ванюшка неестественно скоро вбежал в кухню. Он растерянно оглядывался запухшими глазами и растирал рукой затылок.

— Хым! Хым, — хмыкал он, — на старые-то дрожжи! Очень мне нужно твое место. Я местов сколько угодно найду. Не дорожусь.

— Мати Пресвятая Богородица! — заголосила Агафья. — Прогнал его барин, пьяницу, лежебоку-дармоедину! Куда ж я с ним теперь... За что же он тебя выгнал-то?

— Да, грит, зачем по балам шляюсь и зачем морду изувечил. На козлы, грит, срам посадить, — гнусит Ванюшка, тупо смотря в землю.

Торговка радостно волнуется и суетится, как репортер на пожаре.

— Так зачем же ты дал эдак себя наколотить? — допытывается она. — Нешто можно столько человек на одного? Али уж очень выпивши был на вечеринке-то?

VI

Ванюшка вдруг быстро-быстро захлопал глазами и, низко оттянув углы распяленного рта, жалобно всхлипнул:

— И нигде я не был... И на вечеринке не был...

— Господи! Наваждение египетское! Так с кем же ты дрался-то?

— И ни с кем не дрался... На земского напоролся!..

— Молчи! — строго цыкнула Агафья. — За эдакие слова знаешь куда?! Что тебе земский, тын аль частокол? Как ты на него напороться мог, дурак ты урожденный?

И она уже занесла было свою карающую длань, но торговка властно остановила ее и, указав на Ванюшку, многозначительно постукала себя пальцем по лбу.

— Ишь ты, — опешила Агафья. — Отец-то, покойничек, тоже пивал. Только к нему все больше эти, с хвостиками, приходили. А земский нет. Земским его не морочило.

— Вот что, парень, — с деловым тоном начала торговка. — Ты ляг себе да отлежись. Вон матка тебя керосином потрет. А уж я твоё дело улажу. В ножки поклонись. Да мне не нужно, я ведь не гонюся. Без места, стало, не останешься. Земчиха меня сегодня просила, муж-то ейный Егорку-то из-за вора с кучеров прогнал, так вот, значит, не найду ли я ей парня, чтоб за лошадьё умел ходить. Я-то ведь ещё не знала, что тебя выгонят. А вот теперь пойду да и представлю, что ты, мол, желаешь.

Успокоившийся было Ванюшка вдруг дико взвыл и, выпучив в ужасе подбитые синяками глаза, вскочил на ноги.

Бабы шарахнулись в сторону и, подталкивая друг друга, вылетели во двор.

— Не! тут керосин не поможет, — озабоченно разводя руками, решила торговка. — Беги, матушка, к головихе, у ейной старухи четверговая соль, дай ему с хлебцем понюхать.

Агафья охала и чесала локти.

— Пойти рассказать, — задумчиво прошептала торговка и, повертев головой, как ворона на подоконнике, пустилась вдоль улицы.

ИГРА

Старому Берке Идельсону денег за работу не выдали, а велели прийти через час.

Ташиться с Песков на Васильевский, опять через час возвращаться — не было расчета, и Берка решил обождать в скверике.

Сел на скамеечку, осмотрелся кругом.

День был весенний, звонкий, радостный. Молодая трава зеленела, как сукно ломберного стола. Справа у самой дорожки распушился маленький желтый цветочек.

Берка был усталый от бессонной ночи и сердитый, но, взглянув раза два на желтенький цветочек, немножко отмяк.

— Сижу как дурак и жду, а денег все равно не заплатят. Будут они платить, когда можно не платить!

Около скамейки играли дети. Два мальчика и девочка. Рыли ямку и обкладывали ее камушками. Работал младший, худенький черненький мальчик; старший командовал и только изредка, вытянув коротенькую, толстую ногу, утаптывал дно ямки. Девочка была совсем маленькая, сидела на корточках и подавала камушки, изредка лизнув наиболее аппетитные.

Подлетел воробей, попрыгал боком и улетел.

Берка усмехнулся, оттянул вниз углы рта.

«Дети так уж дети, — подумал он, — и природа вообще — чего же вы хотите!»

Ему захотелось принять участие в этом молодом веселом празднике.

Он сдвинул брови и притворно-сердитым голосом обратился к детям:

— А кто вам разрешил производить анженерские работы? Я прекрасно вижу, что вы делаете. А разве показано производить анженерские работы? И здесь городское место.

Дети покосились на него и продолжали играть.

— И я знаю, что это не показано. Анженерские работы производить не показано.

Толстый мальчик надулся, покраснел:

— Нам сторож позволил.

Берка обрадовался, что мальчик откликнулся. Эге. Игра таки завязалась.

— Сторо-ож? Ну так не много ваш сторож понимает. И какой у него образовательный ценз? Уж там, где на еврея три процента, там и сторожа ни одного нет.

Маленькая девочка, втянув голову в плечи, заковыляла через дорожку, уткнула голову в нянькин передник и громко заревела.

Берка подмигнул мальчишкам:

— Разве показано? Начальство узнает — беда будет. Каторжные работы. Сибирь.

Толстый мальчик засопел носом, взял брата за руку и пошел к няньке.

Берка встал за ними.

Нянька сморкала девочку и ворчала:

— Чего надо? Чего к детям приметываешься?

Но Берка уже разыгрался вовсю.

— Разве показано производить анженерские работы? — подмигивал он няньке. — Это не показано.

— Нам сторож позволил, — заревел вдруг толстый мальчик.

— Сторо-ож? И где же его ценз?

Берка подмигнул желтенькому цветочку.

— Господи помилуй! — удивлялась нянька. — Никогда того не было! Уж ребенок не смей песком играть! Указчик какой выискался! Скажите пожалуйста! Никогда никто не запрещал...

Подошел сторож.

— Что случилось? Вам, господин, чего надоть?

— Помилуй Бог! Дети, так они дети. Разве показано анженерские работы на городском месте! Не показано.

Он подмигнул сторожу.

— Ты чего мигаешь? — озлился сторож. — Ты мне не смей мигать. Я тебе так помигаю...

Берка слегка опешил, но, взглянув на желтенький цветочек, сейчас же понял, что сторож шутит.

— Я мигаю? и зачем бы я имел мигать, когда мне известны законы военной империи.

— К детям приметывается! Никому от него покою нету... Рад со свету сжить... — пела нянька. — Говорят ему: сторож позволил. Нет, ему все мало. Сторож, вишь, не начальство.

— Вот как! — сказал сторож. — Ну ладно же. Я ему покажу, кто здесь начальство.

Он подошел к решетке и свистнул.

Берка смотрел на приближающихся к нему городского и дворника и говорил:

— Куды это они идут — несчастный служащий народ? Может, облава на какого мошенника? Только извините, господин сторож, я уже пойду, мне уже некогда. Поигрался себе с детьми, а теперь должен идти на печальное дело. Ну... и почему вы меня держите за локоть? Господин сторож! Почему?

ДАРОВОЙ КОНЬ

Николай Иванович Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.

Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.

«Куда я ее дену? — думал он. — Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».

Приятель посоветовали попросить у начальства квартирных денег.

— Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказываться станут — скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм... приращение семейства.

Начальство согласилось. Денег выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию: бросил курить.

— Чудесный у вас конь, Николай Иваныч, — сказал соседний лавочник. — Беспременно у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю.

Заинтересовалось и высшее начальство Николая Иваныча.

— Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.

— Что вы, помилуйте-с! Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверять опасно.

Уткин нанял парня и перестал завтракать.

Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:

— Не свели еще лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.

А начальство продолжало интересоваться:

— Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?

— Она еще не объезжена. Очень дикая.

— Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только, знаете, голубчик, вы не вздумайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в коем случае! Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я, — говорит, — от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отраднo, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?

Уткин понимал и, бросив обедать, ограничивался чаем с ситником.

Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарае не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».

Но гордился перед всеми по-прежнему.

— Не понимаю, как может человек, при известном недостатке конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Перестал покупать сахар.

Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.

Слышал все это соседский лавочник и неодобрительно качал головой.

— И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!

— А какие?

— А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзют.

Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.

— Я, — говорит, — такой аппарат поставлю, что как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет.

Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса за-трещали звонки.

Уткин кинулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю. Смотрят — замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.

— Ска-тина! — крикнул Уткин. — Это она ногой наступила на проволоки. Ишь, жует. Хоть бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволяет себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.

Лег спать. Едва успел задремать — опять треск и звон. Оказалось — кошка. На рассвете опять.

Совершенно измученный, пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.

Ночью опять треск и звон. Проволоки как идиотки соединялись сами собой. Уткин всю ночь про-

бегал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.

«Что я теперь? — думал он, уткнувшись в подушку. — Разве я человек? Разве я живу? Так — пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»

Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порою трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.

Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался, подмигивал сам себе.

— Что, объела? А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козлиные сапоги шить, губернаторшин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.

Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом.

Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом: все ли благополучно?

— А все!

— А лошадь... цела? — почти в ужасе крикнул Уткин.

— А что ей делается.

— Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!

— А ей-богу, барин! Вы не пужайтесь, конек ваш целехонек. Усе сено пожрал, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась левая нога и правая рука.левой рукой он написал записку:

«Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:

— Господа! Объявляю заседание открытым!

Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стучали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться.

— Господа! — закричал Тузин еще громче. — Объявляю заседание открытым. Семенов второй! Навались на дверь, чтобы пригостишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа: у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов четвертый! Зачем жуешь? Сказано — сегодня не завтракать! Не слышал приказа?

— Он не завтракает, он клячку жует.

— То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну, то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю... ты что, Иванов третий?

— Плежде всего надо лассуждать пло молань, — выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. — Молань важнее всего.

— Какая молань? Что ты мелешь? — удивился Петя Тузин.

— Не молань, а молаль! — поправил председателя тоненький голосок из толпы.

— Я и сказал, молань! — надулся еще больше Иванов третий.

— Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, — мораль... А как это, мораль... это про что?

— Чтобы они не лезли со всякой ерундой, — волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. — То нехорошо, другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя — никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы.

— А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда, — подхватил кто-то из напиравших на дверь. — Почему нельзя? Всегда буду класть...

— И стоб позволили зениться, — пискнул тоненький голосок.

— Кричат: «Не смей воровать!» — продолжал мальчик с хохлом. — Пусть докажут. Раз мне полезно воровать...

— А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил? — забасил Петров второй. — Если мне доставляет удовольствие...

— А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала...

— Стоб не месали вступать в блак, — пискнул тоненький голосок.

— А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семеныч нам все колы лепит, а в жен-

ской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала...

— Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие.

— Держи дверь! Напирай сильнее! Приготовишки ломаются.

— Тише! Тише! Петька Тузин! Председатель! Звони ключом об чернильницу — чего они галдят!

— Тише, господа! — надрывался председатель. — Объявляю, что заседание продолжается.

Иванов третий продвинулся вперед.

— Я настаиваю, чтоб лассуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтоб не было никакой молани. Нам должны все позволить. Я не хочу уважать лодителей, это унизительно! Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не буду слушаться сталших, и у меня самого могут лодиться дети... Сенька! Блось! Я тебе в молду!

— Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже.

— Пусть не заплещают нам зениться! — пискнул голосок.

— Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать: есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста — «нехорошо». Если не учишься — нехорошо. А почему же, позвольте спросить, — нехорошо? Они

говорят: «Дураком вырастешь». Почему дурак — не хорошо? Может быть, очень даже хорошо.

— Дулак — это холосо!

— И по-моему, хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю, пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет — идет, не хочет — мне наплевать. Он третьего дня в клубе шестьдесят рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого ин-ди... юн-ди... ви-ди-ума. А он меня по носу тетрадь хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем.

— Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так: «Пратакол засе...» «Засе» или «заси»? Заседания. Что там у нас первое?

— Я говорил, чтоб не приставали локти на стол...

— Ага! Как же записать?.. Нехорошо — локти. Я напишу «оконечности». «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности». Ну, дальше.

— Стоб зениться...

— Нет, врешь, тайное равноправие!

— Ну ладно, я соединю. «Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей». Ладно?

— Тепель пло молань.

— Ну ладно. «Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак — это хорошо».

— И воровать можно.

— «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что нехорошо, считается хорошо». Ладно?

— А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек.

— Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь?

— Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала, а он все около нее боком... Отдавай мне мою булку!.. Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! где линейка?.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

— А-а! Не буду! Ей-богу, не буду!..

— А, он еще щипаться!..

— Дай ему в молду! Мелзавец! Он делется!..

— Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..

Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.

ПОЛИТИКА ВОСПИТЫВАЕТ

Собрался он к нам погостить на несколько дней и о приезде своем известил телеграммой.

Пошли на вокзал встречать. Смотрим во все стороны, как бы не проглядеть — давно не виделись и не узнать легко.

Вот, видим, вылезает кто-то из вагона бочком. Лицо перепуганное, в руке паспорт. Кивнул головой.

— Дядюшка! Вы?

— Я! я! — говорит. — Только вы, миленькие, обождите, потому — я еще не обыскался.

Пошел прямо к кондуктору, мы за ним.

— Будьте любезны, — говорит, — укажите, где мне здесь обыскаться?

Тот глаза выпучил, молчит.

— Ваше дело, ваше дело. Я предлагал, тому есть свидетели.

Дяденька, видимо, обиделся. Мы взяли его под руки и потащили к выходу.

— Разленился народ, — ворчал он.

Привезли мы дядюшку домой, занимаем, угощаем. Объявил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «Закис в провинции, нужно душу отвести».

Стали мы его расспрашивать, как, мол, у вас там, говорят, будто бы...

— Все вздор. Все давно вернулись к мирным занятиям.

— Однако ведь во всех газетах было...

Но он и отвечать не пожелал. Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное.

— Да я не умею.

— Ну и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали. Купи хоть граммофон.

К вечеру дяденька совсем развинулся. Чуть звонок, бежит за паспортом и велит всем руки вверх поднимать.

— Дяденька, да вы не больны ли?

— Нет, миленькие, это у меня от политического воспитания. Оборотистый я стал человек. Знаю, что, где и когда требуется.

Лег дяденька спать, а под подушку «Новое время» положил, чтобы худые сны не снились.

Наутро попросил меня свести его в сберегательную кассу.

— Деньги дома держать нельзя. Если меня дома грабить станут — непременно убьют. А в кассе грабить станут, так убьют не меня, а чиновника. Поняли? Эх вы, дурашки!

Поехали мы в кассу. У дверей городской стоит. Дяденька засуетился.

— Милый друг! Ради бога, делай невинное лицо. Ну что тебе стоит! Ну, ради меня, ведь я же тебе родственник!

— Да как же я могу? — удивляюсь я. — Ведь я же ни в чем не виновата.

Дядюшка так и заметался.

— Погубит! Погубит! Смейся, хоть, по крайней мере, верещи что-нибудь...

Вошли в кассу.

— Фу! — отдувался дядюшка. — Вывезла кривая. Бог не без милости. Умный человек везде побывать может: и на почте, и в банке, и всегда сух из воды выйдет. Не надо только распускаться.

В ожидании своей очереди дяденька неестественно громким голосом стал рассказывать про себя очень странные вещи.

— Эти деньги, друг мой, — говорил он, — я в клубе наиграл. День и ночь дулся, у меня еще больше было, да я остальное пропил. А это вот пока что спрячу здесь, а потом тоже пропью, непременно пропью.

— Дяденька! — ахала я. — Да ведь вы же никогда карт в руки не брали! Да вы и не пьете ничего!..

Он в ужасе дергал меня за рукав и шипел мне на ухо: «Молчи! Погубишь! Это я для них. Все для них. Пусть считают порядочным человеком».

Из сберегательной кассы отправились домой пешком. Прогулка была невеселая. Дяденька во все горло кричал про себя самые скверные вещи. Прохожие шарахались в сторону.

— Ладно, ладно, — шептал он мне. — Уж буду не я, если мы благополучно до дому не дойдем. Умный человек все может. Он и в банке побывает, и по улице погуляет, и все ему как с гуся вода.

Проходя мимо подворотного шпики, дяденька тихо, но с неподдельным чувством пропел: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье...»

Мы были уже почти дома, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Мимо нас проезжал генерал, самый обыкновенный толстый генерал, на красной подкладке. И вдруг мой дяденька как-то странно пискнул и, мгновенно повернувшись спиной к генералу, простер к небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этот благородный седовласый старец в порыве неизъяснимого экстаза благословляет землю.

Вечером дяденька запросился в концерт. Внимательно изучив программу удовольствий, он остановил свой выбор на благотворительном музыкально-вокальном вечере.

Поехали.

Запел господин на эстраде какое-то «Пробуждение весны». Дяденька весь насторожился: «А вдруг это какая-нибудь аллегория. Я лучше пойду покурю».

Кончилось пение. Началась декламация. Вышла барышня, стала декламировать «Письмо» Апухтина. Дяденька сначала все радовался: «Вот это мило! Вот молодец девица. И комар носа не подточит».

Хвалил, хвалил, да вдруг как ахнет. Схватил меня за руку, да к выходу.

— Дяденька! Голубчик! Что с вами?

— Молчи, — говорит, — молчи! Скорей домой. Дома все скажу.

Дома потребовал от меня входные билеты с концерта, сжег их на свечке и пепел в окно бросил. Затем стал вещи укладывать. Мы просили, уговаривали. Ничто не помогло.

— Да вы хоть скажите, дяденька, что вас побудило?

— Да не притворяйся, — говорит, — сама слышала, что она сказала. Отлично слышала.

Насилу уговорили рассказать. Закрыв все двери.

— Она, — говорит, — сказала: «Воспоминанье гложет, как злой палач, как милый властелин».

— Так что же из этого? — удивляюсь я. — Ведь это стихи Апухтина.

— Что из этого? — говорит он жутким шепотом. — Что из этого? «Гложет, как милый властелин». Статья 121, вот что из этого. Идите вы, если вам нравится, а я, миленькие, стар стал для таких шуток. Мне и здоровье не позволит.

И уехал.

СЕМЬЯ РАЗГОВЛЯЕТСЯ

— Поедемте к нам, — упрашивали знакомые, когда стали расходиться из церкви. — Поедемте, вместе разговеемся.

Но Хохловы поблагодарили и с достоинством отказывались.

— Нет уж, мы всегда дома! Уж это такой праздник — сами понимаете... Вся семья должна быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете... И детки ждать будут, как же можно?..

Распрощались, поздравились, поехали домой.

Колокола гудят, на улицах толпа народа.

Радостно, торжественно.

Хохлов говорит жене:

— Швейцару пять, старшему дворнику пять...

— Посмотри, какой красивый вензель на подъезде, — перебивает жена. — Надо шесть. Прибавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать.

— Все равно рублем не замажешь... Для фрейлейн что купила?

— Браслетку, — вздохнула жена. — За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный, написал — двенадцать с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто тринадцать или двенадцать. Не правда ли? Но до чего я устала со всеми этими дрызгами! Обо всех нужно подумать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша (вообрази себе нахальство!) подходит ко мне на днях и заявляет: «Будете для меня подарок покупать — купите коричневого бордо на платье». Каково! И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу!

— Распушенность! Сама виновата. Не надо распускать.

Приехали.

Швейцар торжественно распахнул двери.

— Христос Воскресе! С праздником, ваша милость!

Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно докладывал: «Тут без вас господин приходили».

А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул пять рублей и отдал их швейцару.

— Началось! — вздохнула жена.

Поднялись по лестнице.

На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила.

— Подарок после отдам, — сказала барыня и подумала: «И чего эта дура радуется? Воображает, кажется, что я ей коричневого купила».

В столовой ждали две девочки.

— Мама! — сказала одна. — Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка.

— А Женя пасху руками трогала.

— Очень мило! Очень мило! — запела мать. — Вот как вы встречаете родителей. Вместо того чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как... А где ваша фрейлейн? Куда она девалась?

— Фрейлейн в гостиной, в зеркало смотрится, — отвечали девочки дуэтом.

— Час от часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб перекрестить — и детей оставить не на кого. Фрейлейн Эмма! Где же вы?

Вошла фрейлейн с напряженно-праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась старая, застиранная лента.

Фрейлейн сделала полупоклон-полуреверанс, то есть, склонив голову, слегка лягнула ногой под юбкой и сказала:

— Ich gratuliere...¹

— Это очень хорошо, моя милая, — перебила ее хозяйка, — но вы также не должны забывать свои обязанности. Дети шалят, портят кулички...

У немки сразу покраснел носик.

— Я гавариль Катенько, а Катенько отвешаль, что кулиш не святой. Я не знаю русски обышай, што я могу?

— Ну перестаньте! Об этом потом поговорим. А где Петя?

— Петя пошел к заутрени во все церкви сразу, — отвечал дуэт. — Я говорила, что мама рассердится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права вмешиваться.

— Ах, дрянь эдакая! Ох, бессовестный! — закудахтала мать.

— В чем дело? — спросил, входя, Хохлов. — Вот вам подарок. Фрейлейн, вам браслетка. А вам, дети, — крокет.

Дети надулись.

— Какой же подарок! Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали без всякого праздника.

— Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты! Не дадут отцу-матери разговеться спокойно. Где Петька?

— Во все церкви пошел... не имеете права вмешиваться... он не просил, — отвечал дуэт.

¹ Я поздравляю... (нем.)

— Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянь!

Хохлов сел за стол.

— Это что? Поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру! Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается. Вы только сидите да фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз нет в тебе никакой самокритики. Так тоже нельзя! Ну к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну кого ты думала огурцом удивить?

— Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговеться заедет.

— Август Иванович! Очень ты его огурцом удивишь! Одна фанаберия. Передай сюда яйца.

Хохлов треснул яйцом о край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам.

— Это что? А? Всмятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит. А? Каково? Двенадцать рублей жалованья, яиц сварить не умеет!

Вошла кухарка, встала у дверей.

— Это что? А? Это крутое яйцо? А?

— Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось... Я ведь тоже не Свят Дух!..

— Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила!

С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего... Кто там звонит? Ага. Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!

— Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность...

— Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было...

— А где подарки?

— Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь...

— Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит? Все только нарочно!

— Сам же всю осень ныл, что коньков нет!..

— Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.

— Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!

— А, так вот же вам!

Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.

— Пойду отдам прислуге подарки, — сказала Хохлова и встала из-за стола.

Муж остался один и долго молча жевал.

— Ну что, рады небось? — спросил он, когда жена вернулась.

— Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили... Глаша говорит, что фрейлейн плачет.

- Чего она?
- Браслетка не нравится. Не к лицу.
- Вот дура!
- Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!
- Ну вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?
- Ничего. Это девчонки крокет ломают.
- Эдакие дряни! Вот я им ужо!

НЯНЬКИНА СКАЗКА ПРО КОБЫЛЮ ГОЛОВУ

— Ну а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? — спросила я у своей соседки по five o'clock'у.

— Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы... Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка... Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avez, vous avons, ils ont»...¹ или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.

— Все это вздор! — перебила ее хозяйка дома. — Не в этом суть! Главное, на что должно быть обра-

¹ Мы имеем, вы имеете, они имеют (*фр.*).

щено внимание родителей и воспитателей, — это развитие в детях фантазии.

— Однако? — удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь сострить.

— Finissez!¹ Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька — вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.

— Pardon! — вставила моя соседка. — Вы что-то сказали о поэтах... Я не совсем поняла.

— Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин: «Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... сокровища мои на дне твоём таятся...»

— Pardon, — вмешался молодой человек, приподняв голову над сахарницей, — это как будто к чернильнице...

— Что за вздор! Разве чернильница может нянчить? А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», — ведь всему этому научила его нянька!

— Неужели и «Евгений Онегин»? — усомнилась моя соседка.

— Удивительно! — мечтательно сказал хозяин дома, — такая дивная музыка... И все это нянька!

— Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она

¹ Перестаньте! (*фр.*)

каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.

— Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! — заметила моя соседка. — Я знала одного дантиста... Так он ужасно много о себе воображал... То есть я не то хотела сказать...

Она слегка покраснела и замолчала.

— А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!

— Говорят, есть такие флюиды... — вставил хозяин, сделав умное лицо.

— Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более я — мать.

Мы не спорили, и она продолжала:

— Прихожу я раз в детскую, вижу — Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, — Госпо-

ди, что такое! Ушам своим не верю. «Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!»¹ — выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.

В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.

— А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре... в жанре... как его? Их еще два брата...

— Карл и Франц Мор, — подсказал молодой человек.

— Да, — согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: — Ах нет, на «Д»...

— Решке, что ли? — помог муж.

— Finissez! В жанре... в жанре Маковского.

— Так вот — картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. C'est roétique². Так что же, пойдете?

Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.

В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:

— «В некотором царстве, да не в нашем государстве жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.

¹ Вильгельм спит у своей новой возлюбленной! (нем.)

² Это так поэтично (фр.).

Вот погоревал старик, погоревал да и пошел в лес дрова рубить.

Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.

— Здравствуй, — говорит, — папаша!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— Какой, — говорит, — я тебе, кобылья голова, папаша!

— А такой, что веди меня к себе в избу жить.

Потужил мужик, потужил, однако видит, что делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.

Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.

Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:

— Папаша, а папаша, я жениться хочу!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— На ком же ты, — спрашивает, — кобылья голова, жениться хочешь?

— А так что, — говорит, — иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.

Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.

А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.

И живет она богато-богатеюще.

Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло параванское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и манчестером отделано.

А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.

А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.

Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки новехонькие да кафтан золоченый, на бумаге стеганный, и палаты каменные, и пирога кромку.

Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»

— *C'est fantastique!*¹ — хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.

— Тсс! *Revenons*² в гостиную!

ПОЛИТИКА И НАУКА

Настроение в классной комнате какое-то натянутое. Второй день не дерутся.

Павлику не по себе. Он сидит над книгой и тихо похныкивает, глядя под лампу, подвешенную высоко, «от греха подальше».

Борька, толстый, безбровый, хмурит лоб и зубрит по бумажке.

— Р. С.-Д. Р. П. ... Д. К. и Р. Д. ... Нет, не Д. К., а К.-Д., К.-Д., К.-Д.

¹ Это фантастично! (*фр.*)

² Вернемся (*фр.*).

— Хм! — хнычет Павлик. — И чего ты бесишься. Все равно все знают, что у нас в приготовительном самые трудные предметы. У нас все предметы начинаются, а у вас все только повторяют. Это всем известно.

— К.-Д., К.-Д., К.-Д., — кудахтает Борька.

— Хм! Хм! Меня завтра из батюшки спросят, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолепно знал, а он кол влепил.

— Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П. А что же тебя спрашивали? — с легким налетом презрения кидает Борька.

— Спросили про двенадцатые праздники. Я ему почти все назвал: Пасху назвал, Вознесенье назвал, Елку назвал, Введенье назвал, Масленицу назвал...

— Дурак! Масленица не двенадцатая. Р. С.-Д. Р. П.

— Я ему все назвал, и Илью назвал, а он...

— Перестань скулить! Р. П. С.-Р. ... У меня революция на носу. Большевик, меньшевик, фракция, фракция, фракция... Большевик, меньшевик...

Павлик уныло посмотрел на маленький круглый Борькин нос, на котором была революция, и захныкал дальше.

— Хм! Заповеди все знаю, а он нарочно сбивает, чтобы...

— Врешь, — неожиданно обрывает Борька. — Не можешь ты всех заповедей знать.

— Нет, знаю.

— Ну, скажи, какую знаешь.

— Все знаю. И третью знаю.

— Ну, скажи, про что в третьей говорится?

— Про родителей.

— А что про родителей?

— «Да не прелюбо да сотворите» говорится. Я все знаю. А ты ничего не знаешь, ты ерунду зубришь. Латинскую азбуку.

— Эх ты, курица! Это не латинская азбука. Это мне Паша Коромысленников записал. Это, братец ты мой, фракция, а не ерунда. Паша Коромысленников не такой человек, чтобы ерундой заниматься. Он, братец ты мой...

— А что такое фракция?

— Это, братец ты мой, тебе еще рановато знать. Вот перейдешь в следующий класс, тогда... Паша Коромысленников светлая личность!

Борька глубокомысленно хмурит то место, где должны быть брови, и, понизив голос, продолжает:

— У Паши Коромысленникова чудный револьвер! Браунинг. Великолепный! Маузерской работы. Он несколько тысяч стоит, и то без пуль. Пули покупаются отдельно. Тоже несколько тысяч. Но мы будем сами пули лить. Своего отлива прочнее. Будем копить свинец из-под «Гала-Петер». Этого, конечно, мало... Ну да там видно будет. Мне тоже придется обзавестись оружием.

— А тебе зачем? — криво усмехается Павлик. Он уже давно почувствовал уважение к брату, но еще совестно показать это.

— Я, видишь ли, братец ты мой, сделал маленькую оплошность. Может быть, ты и не заметил, но кое-что, наверное, намотал себе на ус. Дело в том, что я вчера за обедом брякнул во всеуслышание, что я социал-демократ. Теперь Паша Коромысленников советует мне спать с оружием. Пример Герцен-

штейна служит ярким доказательством того, что черная сотня не пощадит никого из нас...

Павлик уже не усмехается. Глаза у него стали круглые.

— Да-с, братец ты мой, — продолжает Борька. — Дело — табак! Конечно, я мог бы, например, завтра же за обедом заявить, что я не социал-демократ, а что я принадлежу к фракции союза активных крамол, то есть борьбы (ты ведь все равно не понимаешь). Этим я бы себя спас. Но Борис Сухарев не таков, братец ты мой! Ты еще узнаешь, что такое Борис Сухарев. А теперь — засохни! Не мешай. Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П.

Некоторое время Павлик молча и сосредоточенно рисует чернилами рожи у себя на ногтях.

Разрисовал всю левую руку — на каждом ногте по роже. Мрачно полюбовался. Принялся за правую руку. Здесь дело не налаживалось. Павлик не умел рисовать левой рукой. Опять стало скучно. Пришлось захныкать.

— Хм... хм... Все равно хоть все на память вызубри, а он кол влепит. Я ему все Вознесенье хорошо ответил; все правильно рассказал, только заглавие спутал, сказал, что это Сретенье, а он... А Петя говорит, что если я из батюшки срежусь, так меня на второй год засадят.

— Засохни! П. П. С., П. Н.-С. ...У меня теперь трудное пошло. П. П. С., П. Н.-С.

— Из русского разбор задал, а я не могу...

— Что ты не можешь, курица?

— Не могу пустынного.

— Какого пустынного?

— Задано «Пустынник гулял в пустыне». Пустыня — имя существительное, нарицательное... А пустынный... а пустынный — глагол?

— Глагол? — задумывается Борька. — Ну, это ты, братец, того... Как же тогда второе лицо?

— Ты пустынный... — безнадежно тянет Павлик.

— Нет, это ты, братец, путаешь. Это так кажется, что глагол, потому что пустынный предмет воодушевленный. А ты возьми предмет невоодушевленный. Например, стол. Что такое — стол?

— Глагол...

— Вот курица! Как же будущее время, если глагол?

— Столу-у, хм...

В соседней комнате часы бьют восемь. Борька в отчаянии хватается за голову.

— Сейчас чай пить позовут, а я ни в зуб ногой. Будь товарищем, спроси меня вот по этой бумажке, только не подсказывай, я сам...

Павлик берет бумажку и, мрачно насупившись, начинает:

— Что такое К.-Д.?

— Да ты не по порядку! Ты вразбивку спрашивай. По порядку и дурак скажет.

— Что такое максималисты?

— Ну, это легко. Это те, которые в Фонарном переулке. Валяй дальше!

— Что такое П. Д. Р.?

— П. Д. Р. ... П. Д. Р. ... Постой, ты, верно, не так спрашиваешь. Да, П. Д. Р. Партия демократических реформ. Правей К.-Д., левой С.-Д.

— Что такое Р. С.-Д. Р. П.?

— Гм... Как?
— Р. С.-Д. Р. П.
— Ты, верно, опять спутал.
— Р. С.-Д. Р. П., — настойчиво тянет Павлик
— Пошел к черту! Мекеке! Мекеке! Туда же, берется спрашивать. Сказано, курица — ну и молчи! Давай сюда записку!

В столовой зазвенели ложки. Сейчас позовут чай пить. Скучно Павлику и тревожно. Что-то завтра будет из батюшки... И разве пустынный наверное глагол?..

Борька отдувается и фыркает: «Фракция, фракция, фракция...»

Молодчина Борька. Хорошо быть большим и умным!..

УТЕШИТЕЛЬ

Мишеньку арестовали.

Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства дела.

— Пустяки, — говорит тетенька. — Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро бы, говорит, студент, а то гимназист-третъеклассник. Пожучат да и выпустят.

— Пожучить надо, — покорно соглашается маменька.

— А потом тоже, и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что, не зарядивши, не выпалишь.

— Ох, Мишенька, Мишенька! Чуюло твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам

три ночи заснуть не мог. Каждую минутку встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой. Я ему говорю: «Брось ты ее, отдай, у кого взял». И бросить нельзя — товарищи велели.

— Так ведь оно не заряжено?

— Не заряжено-то оно не заряжено, да Мишенька говорит, что в газетах читал, будто как нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит; и заряживать, значит, не надо. В Америке будто нагрелось, да ночью целую семью и ухлопала.

— Да солнца-то ведь ночью не бывает, — сомневается тетенька.

— Мало ли что не бывает. За день разогреется, а ночью и палит.

— Не спорю, а только много и врут газеты-то. Вот наемни Степанида Петровна тоже в газете вычитала, будто на Петербургской стороне продается лисья шуба за шестнадцать рублей. Ну, статочное ли дело? Чтобы лисья шуба...

— Врут, конечно врут. Им что!.. Им все равно. Что угодно напишут.

Дверь неожиданно с треском распахивается. Входит гимназист — Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надуты и выражение лица зловещее.

— Здравствуйте! Я зашел... Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, сударыня, в сущности, нечего. Тем более что вы, наверное, были подготовлены...

У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.

— Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно поле-

зен для слабогрудных. Это вам каждая медицина скажет.

Тетенька роняет ложку. У маменьки глаза делаются совсем круглыми, с белыми ободочками.

— Вот видите, как вы волнуетесь, — с упреком говорит гимназист. — Можно ли так... из-за пустяков. Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром... проментирующие личность вещи?

— Ох господи, — застонала маменька, — пистоль эту окаянную да еще газетку какую-то!

— Газету? Вы говорите, газету? Гм... Осложняется... Но волноваться вам совершенно незачем.

— Может, газета-то и не к тому... — робко вмешивается тетенька. — Потому он на газету только глазом метнул да и завернул в нее пистолет. Может быть...

Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.

— Гм... Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Гм... Тем более что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений — все это хорошо сохраняет... сохраняет нервные волокна... Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам, как матерям, это должно быть приятно.

— Голубчик, — вся затряслась маменька, — голубчик! Не томи! говори, говори все, что знаешь. Уж лучше сразу!..

— Сразу! Сразу, — всхлинула тетенька. — Не надо нас готавливать... Мы тверды...

— Говори, святая владычица.

Гимназист пожал плечами.

— Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного. Нужно же быть рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда! Револьвер, гм... Вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности... В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу! Ему говорят: снимите очки. А он говорит: я, мол, ничего не вижу невооруженным глазом. Вот его за вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то само собой разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во внимание процент рождаемости...

Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть.

В дверь просовывается голова кухарки.

— Ну разве можно так волноваться! Ай как стыдно! — ласково журит гимназист.

Кухарка голосит: на кого ты нас...

— Ну-с, я вечером опять зайду, — говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего тяжелый долг.

КОРСИКАНЕЦ

Допрос затянулся, и жандарм почувствовал себя утомленным; он сделал перерыв и прошел в свой кабинет отдохнуть.

Он уже, сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость.

За стеной громкий бас отчетливо пропел: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Басу вторил, едва поспевая за ним, сбиваясь и фальшивя, робкий, осипший голосок: «ря-бочий нарёд...»

— Эт-то что? — воскликнул жандарм, указывая на стену.

Письмоводитель слегка приподнялся на стуле.

— Я уже имел обстоятельство доложить вам на предмет агента.

— Нич-чего не понимаю! Говорите проще.

— Агент Фиалкин изъявляет неперменное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у Михайловской конки. Тихий человек. Только амбициозен сверх штата. Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои истрачиваю на конку. Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения выдающихся сил, предполагая их существование...

«Крявавый и прывый...» — дребезжало за стеной.

— Врешь! — поправил бас.

— И что же — талантливый человек? — спросил жандарм.

— Амбициозен, даже излишне. Ни одной революционной песни не знает, а туда же, лезет в провокаторы. Ныл, ныл... Вот, спасибо, городской, бляха № 4711... Он у нас это все как по нотам... Слова-то, положим, все городские хорошо знают, на улице стоят, — уши не заткнешь. Ну а эта бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся выучить.

— Ишь! «Варшавянку» жарят, — мечтательно прошептал жандарм. — Самолюбие — вещь недурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон — простой корсиканец был... однако достиг, гм... кое-чего.

Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит на нем, —

рычит бляха № 4711.

— Как будто уж другой мотив, — насторожился жандарм. — Что же он, всем песням будет учить сразу?

— Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, будто какое-то дельце обрисовывается.

— И самолюбьице же у людей!

— «Семя грядущего...» — заблеял шпик за стеной.

— Энергия дьявольская, — вздохнул жандарм. — Говорят, что Наполеон, когда еще был простым корсиканцем...

Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.

— А эт-то что? — поднимает брови жандарм.

— А это наши, союзники, которые на полном пансионе в нижнем этаже. Волнуются.

— Чего им?

— Пение, значит, до них дошло. Трудно им...

— А, ч-черт! Действительно, как-то неудобно. Пожалуй, и на улице слышно, подумают, митинг у нас.

— Пес окаянный! — вздыхает за стеной бляха. — Чего ты воешь, как собака? Разве революционер так поет! Революционер открыто поет. Звук у него

ясный. Каждое слово слышно. А он себе в щеки скулит да глазами во все стороны сигаает. Не сигаай глазами! Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду. Нанимай себе максималиста, коли охота есть.

— Сердится! — усмехнулся письмоводитель. — Фигнер какой!

— Самолюбие! Самолюбие, — повторяет жандарм. — В провокаторы захотел. Нет, брат, и эта роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты мой, а революционер ты или чистый провокатор, разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.

«Нашим потом жиреют обжоры», — надрывается городской.

— Тьфу! У меня даже зуб заболел! Отговорили бы его как-нибудь, что ли.

— Да как его отговоришь-то, если он в себе чувствует эдакое, значит, влечение. Карьерист народ пошел, — вздыхает письмоводитель.

— Ну, убедить всегда можно. Скажите ему, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вот зуб болит.

«Вы жертвою пали...» — взревел городской.

«Вы жертвою пали...» — жалобно заблеял шпик.

— К черту! — взвизгнул жандарм и выбежал из комнаты. — Вон отсюда! — раздался в коридоре его прерывающийся, осипший от злости голос. — Мерзавцы. В провокаторы лезут, «Марсельезы» спеть не умеют. Осрают заведение! Корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев!..

Хлопнула дверь. Все стихло. За стеной кто-то всхлипнул.

ДАЧА

Серое небо... серое море...

Серый воздух дрожит тонкими дождевыми нитями...

По липко-скользким дорожкам, гуськом, бродят первые дачники. Бродят они медленно, по три-четыре человека. Дети впереди, старики за ними. Если один станет, все останавливаются и ждут его, долго и покорно, не поворачивая головы.

Они не разговаривают, даже не вздыхают, и о приближении их можно узнать только по тихому всхлипыванию калош...

Вот они прошли лесной дорожкой, по которой ходить строго воспрещается; подошли к парку, в который вход «воспрещен» строго-настрога, через «ять». Посмотрели на деревья, которые нельзя ломать, на траву, которую нельзя рвать. Подошли к берегу, с которого серая доска позволяет купаться только «женщинам», и то в кавычках. Взглянули на скамейку, недоступную «посторонним лицам»... и тихо повернули опять на лесную дорожку, по которой ходить строго воспрещается. Дети впереди, старики за ними.

Дачник — происхождения доисторического или, уж во всяком случае, — внеисторического. Ни одного Иловайского о нем не упоминается.

Несколько народных легенд касаются слегка этого предмета.

Не буду приводить их дословно, воздержусь также от сохранения стиля и колорита, так как имею для этого особые причины. Передам только сущность.

Первый дачник пришел с запада. Остановился около деревни Укко-Кукка, осмотрелся, промолвил «бир тринкен» и сел. И вокруг того места, куда он сел, сейчас же образовались крокетная площадка, ломберный стол и парусиновая занавеска с красной каемочкой. Так просидел первый дачник первое лето.

На второе лето вернулся опять. Принес с собой две удочки и привел четырех детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи. И образовался вокруг него зеленый заборчик, переносный ледник и кудрявые березки, которые дачник подрезывал и при помощи срезанных ветвей воспитывал своих детенышей. Так просидел первый дачник второе лето.

На третье лето вернулся снова и принес с собой гамак, флаг и привел восемь детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи и одного, почти безлобого, велосипедиста с большим кадыком. И образовался вокруг него дачный дворник и потребовал вид на жительство. Но первый дачник не понял его. Тогда пришел полицейский и, узнав, что первый дачник по-русски не говорит, припомнил иностранные языки и сказал: «Позвольте ваш пейзаж». Потом они поняли друг друга, и первый дачник пустил первые корни.

Вокруг него образовался палисадник, граммофон и разносчики.

И стал первый дачник плодиться, размножаться, наполнять собой Озерки, Лахту, Лесное, Удельную и все Парголово.

И стало так.

Дачный дворник — существо особое, от обыкновенного дворника отличное.

Лицо у него круглое, с неискоренимым, вероятно, наследственно-глупым выражением.

Существует он только летом. Где он находится и что делает зимой — никто до сих пор не знает. Вероятно, зимует там же, где раки. Знаю, что это определение не совсем ясное, но, к стыду моему, должна признаться, что до сих пор не осведомлена с точностью о рачьей резиденции. Многие обещают друг другу сделать это разъяснение, но, кажется, еще никто этого обещания не исполнил.

Как бы то ни было, но, как только «за весной, красой природы» наступит лето и пригреет солнцем дачный палисадник, — тотчас около забора, в позе херувима Сикстинской Мадонны, подпершись обоими локтями, залоснится лик дачного дворника.

Деятельность дачного дворника велика и многообразна.

Встает он не позже пяти-шести часов и тотчас принимается за дело: притащит к самым окошкам какую-нибудь старую доску и начинает вколачивать в нее гвозди. Иногда доска бывает с железкой, и тогда она очень хорошо дребезжит. Колотит дачный дворник по доске до тех пор, пока с дикими воплями не высунутся из окон озверело-всклоченные головы дачников. Тогда дворник идет отдыхать. Но утренний сон, как известно, бывает крепок, и если дворник честный работяга, то ему приходится иногда трудиться не менее получаса, чтобы достигнуть вожделенного конца.

Выждав время, когда озверелые дачники придут в себя и, одевшись и успокоившись, выползут на ве-

ранды и палисадники наслаждаться утренним зефиром, дачный дворник берется за метлу и начинает пылить. Пылит он долго и систематически. Там, где земля затвердела, подсыпает сухонького песку — сил своих не жалеет. И когда истомленные дачники, задыхающиеся и покорные, разбегаются по полям, лесам и оврагам, он снова уходит на отдых.

Затем, вплоть до вечера, ему «недосуг». Он сидит в своей сторожке и смотрит одним глазом в осколок зеркала, прикрепленный к стенке.

Вечером он стоит у калитки и чешет левую лопатку оттопыренным пальцем правой руки. В то же самое время он не отказывает себе в удовольствии нанести посильный ущерб дачниковским делам. Он уверяет приехавших к ним друзей, что дачи стоят пустые, или что все съехали, или что не переехали, или что их выселили. Почтальонов направляет в другой конец, куда-нибудь за полотно железной дороги или в лес, откуда им потом трудно будет выбраться. Телеграмм не принимает никогда, а если не сможет отвертеться, то не передает или уж, в лучшем случае, вручит через три дня. Короче срока не бывает.

Ночью дачный дворник не спит и все время подсвистывает собакам, чтобы те лаяли и не давали спать дачникам.

Раза два в неделю делает визиты квартирантам, позволяя им выражать свою благодарность денежными знаками.

Дачным часам никто не верит. Живут по поездам, по пароходам, по мороженщику и по чиновнику. Иногда, конечно, это приводит к некоторым не-

удобствам. Вы, например, привыкли обедать по рыжему чиновнику с кривой кокардой. Видите, что он бежит с поезда, значит пора садиться за стол. А вдруг у чиновника винт или еще того хуже — вечернее заседание, которое, по свидетельству его собственной жены, продолжается иногда часов до шести утра!

Вот и сидите без обеда.

А если вы, например, привыкли пить чай по пятичасовому поезду. И вдруг, к ужасу своему, видите, что ровно в половине пятого летит поезд. Вам тревожно. Вы собираете домашний совет, причем одни говорят, что это опоздавший трехчасовой, другие — что поторопившийся пятичасовой. Одни советуют пить чай, другие настаивают, что следовало бы потерпеть. В семье разлад. Жизнь испорчена.

Я не говорю уже о пароходах. За ними уследить трудно, а проклятые деревенские мальчишки выучились так искусно трубить по-пароходному, что один коллежский асессор, неиспорченный и доверчивый человек, позавтракал четыре раза подряд. И дорого за это поплатился — мяснику и зеленщику.

Чиновники, отправляющиеся ежедневно в город на службу, тоже живут друг с другом.

Вот длинная улица, упирающаяся в вокзал. На ней — два ряда дач. Перед утренним девятичасовым поездом в одном из окошек каждой дачи появляется встревоженная физиономия и следит. Появилось вдали облачко пыли...

— Кто? Кто? — проносится по всей улице.

— Нет, это еще только полковник, — спокойно говорят одни. Но рыжий чиновник с кривой кокардой, живущий по полковнику, срывается с места и, прихватив портфель, бежит на вокзал.

Завидев его, начинает колыхаться толстый акцизный и, засунув два бутерброда в карман пальто, выползает на дорогу.

По акцизному живут два учителя, по учителям — дантист, по дантисту — банковский чиновник, по банковскому чиновнику — студент-репетитор, по студенту — музыкальная барышня, по барышне — докторшин жилец, по жильцу — господин с двумя мопсами.

Каждый твердо знает свой указатель и следит только за ним. В первую голову всегда идет полковник.

Раз случилась катастрофа: полковник проспал. И вся вереница дачников, живущих друг по другу, опоздала на поезд. Проскочила только одна музыкальная барышня, и та забыла папку с надписью «musique» и сошла с ума.

Бродят первые дачники. Дети впереди, старики за ними. Бродят от одного столбика с дощечкой к другому столбику с дощечкой, и останавливаются, и читают о том, что им делать воспрещается.

Серое небо... серое море...

К ТЕОРИИ ФЛИРТА

Так называемый «флирт мертвого сезона» начинается обыкновенно — как должно быть каждому известно — в середине июня и длится до середины августа. Иногда (очень редко) захватывает первые числа сентября.

Арена «флирта мертвого сезона» — преимущественно Летний сад.

Ходят по боковым дорожкам. Только для первого и второго rendez-vous допустима большая аллея. Далее пользоваться ей считается уже бестактным.

«Она» никогда не должна приходить на rendez-vous первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорее уйти или куда-нибудь спрятаться.

Нельзя также подходить к условленному месту прямой дорогой, так чтобы ожидающий мог видеть вашу фигуру издали. В большинстве случаев это бывает крайне невыгодно. Кто может быть вполне ответствен за свою походку? А разные маленькие случайности вроде расшалившегося младенца, который на полном ходу ткнулся вам головой в колена или угодил мячиком в шляпу? Кто гарантирован от этого?

Да и если все сойдет благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни полторы шагов, соблюдая все законы грации, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вместе с тем сдержанность, элегантность и простоту.

Сидящему гораздо легче.

Если он мужчина — он читает газету или «нервно курит папиросу за папиросой».

Если женщина — задумчиво чертит по песку зонтиком или, грустно поникнув, смотрит, как догорает закат. Очень недурно также ощипывать лепестки цветка.

Цветы можно всегда купить по сходной цене тут же около сада, но признаваться в этом нельзя. Нужно делать вид, что они самого загадочного происхождения.

Итак, дама не должна приходить первая. Кроме того случая, когда она желает устроить сцену ревно-

сти. Тогда это не только разрешается, но даже вмещается в обязанность.

— А я уже хотела уходить...

— Боже мой! Отчего же?

— Я ждала вас почти полчаса.

— Но ведь вы назначили в три, а теперь еще без пяти минут...

— Конечно, вы всегда окажетесь правы...

— Но ведь часы...

— Часы здесь ни при чем...

Вот прекрасная интродукция, которая рекомендуется всем в подобных случаях.

Дальше уже легко. Можно прямо сказать:

— Ах да... Между прочим, я хотела у вас спросить, кто та дама... и т. д.

Это выходит очень хорошо.

Еще одно важное замечание: сцены ревности всегда устраиваются в Таврическом саду. Отнюдь не в Летнем. Почему? А почему знаю — потому! Так уж принято. Не нами заведено, не нами и кончится.

Да кроме того, — попробуйте-ка в Летнем! Ничего не выйдет.

Таврический специально приноврлен. Там и печальные дорожки, и тихие пруды («я желаю только покоя!..»), и вид на Государственную думу («...и я еще мог надеяться!..»).

Да вообще лучше Таврического сада на этот предмет не выдумашь.

Одно плохо: в Таврическом саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условие мало подходящее. Для меланхолической — великолепно.

Если вам удастся зевнуть совершенно незаметно, то вы можете поднять на «него» или на «нее»

свои «изумленные глаза, полные слез», и посмотреть с упреком.

Если же вы ненароком зевнете слишком уж откровенно, то вы можете, скорбно и кротко улыбнувшись, сказать: «Это нервное».

Вообще флиртующим рекомендуется к самым неэстетическим явлениям своего обихода приурочивать слово «нервное». Это всегда очень облагораживает.

У вас, например, сильный насморк, и вы чихаете, как кошка на лежанке. Чиханье, не правда ли, — всегда почему-то принимается как явление очень комического разряда. Даже сам чихнувший всегда смущенно улыбается, точно хочет сказать: «Вот видите, я смеюсь, я понимаю, что это очень смешно, и во все не требую от вас уважения к моему поступку!»

Чиханье для флирта было бы гибельным. Но вот тут-то и может спасти вовремя сказанное: «Ах! это нервное!»

В некоторых случаях особо интенсивного флирта даже флюс можно отнести к разряду нервных заболеваний. И вам поверят. Добросовестный флиртер непременно поверит.

Ликвидировать флирты мертвого сезона можно двояко. И в Летнем саду, и в Таврическом. В Летнем проще и изящнее. В Таврическом нуднее, затяжнее, но эффектнее. Можно и поплакать, «поднять глаза, полные слез»...

При прощании в Летнем саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть последний раз грустным взором заветную аллею. Это выходит очень хорошо. Урна, смерть, вечность, умирающая любовь, и вы в полуобороте, шляпа в ракурсе... Этот момент не скоро забудется.

Затем быстро повернитесь к выходу и смешайтесь с толпой.

Не вздумайте только, бога ради, торговаться с извозчиком. Помните, что вам глядят вслед. Уж лучше, понуриив голову, идите через цепной мост (ах, он также сбросил свои сладкие цепи!..). Идите, не оборачиваясь, вплоть до Пантелеймоновской. Там уже можете купить «Гала Петера» и откусить кусочек

Считаю нужным прибавить к сведению господ флиртеров, что теперь совсем вышло из моды при каждой встрече говорить:

— Ах! это вы?

Теперь уже все понимают, что раз условлено встретиться, то нет ничего удивительного, что человек пришел в назначенное время на назначенное место.

Кроме того, если в разгар флирта вы неожиданно натолкнетесь на какого-нибудь старого приятеля, то вовсе не обязательно при этом восклицание:

— Ах! Сегодня день неожиданных встреч. Только что встретила с... (имярек софлиртующего), а теперь вот с вами!

Когда-то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится.

Старо и глупо.

СВЯТОЙ СТЫД

С утра сильно качало. Потом обогнули какой-то мыс, и сразу стало легче, а к обеду уже все пассажиры выползли из своих кают и только делились впечатлениями.

Толстый бессарабский помещикпил сельтерскую с коньяком и, бросая кругом презрительные взгляды, рассказывал:

— Я всегда геройски переносу качку. Нужно только правильно сесть — вот так. Затем положить оба локтя на стол и стараться ни о чем не думать. Я всегда геройски переносу. Но главное — это правильно сесть.

Совет его не пользовался успехом. Все помнили, как несколько часов тому назад два дюжих лакея волокли его под руки то вверх на палубу, то вниз с палубы и он вопил не своим голосом.

— Ой, братцы, ой, где же здесь равновесие!

Очевидно, правильно сесть было очень трудно.

После обеда, когда жара спала, пассажиры первого класса собрались на палубе и мирно беседовали.

Герой-помещик ушел отдыхать, и общество оказалось почти исключительно дамским: девять дам и один студент.

Были здесь дамы и молодые, и старые, и нарядные, и уютные, но между ними резко выделялись три, молчаливо признанные всеми «аристократками». Они были не стары и не дурны собой, одеты изящно, вели себя сдержанно и старались держаться особняком. Они и здесь сидели несколько поодаль и в общий разговор не вступали.

К группе беседующих вскоре присоединился и сам капитан.

Это был толстый весельчак, остряк и хохотало. От смеха весь трясся, пучил глаза, и в горле у него что-то щелкало.

— Эге! Да мы здесь в дамской компании! Господин студент, вы себе прогуляйтесь по верхней палубе, а мы, женщины, поболтаем.

Студент сконфузился — он был вообще совсем какой-то белоглазый и тихенький, — сделал несколько шагов и сел на соседнюю скамейку.

— Ну-с, — сказал капитан деловито, — теперь я хочу рассказать вам историйку, которая случилась с одним моим приятелем, тоже капитаном парохода.

История оказалась просто анекдотом, и довольно неприличным. Дамы сконфузились, но, когда одна из них, молодая купчиха, искренне засмеялась, стали смеяться и другие. Студент на соседней скамейке закрывал рот обеими ладонями.

Капитан был очень доволен. Покраснел и даже весь вспотел, точно анекдот ударил ему в голову.

— Ну-с, а теперь я вам расскажу, что произошло с одним дядюшкой, который покупал имение на имя племянницы. Это факт! Можете смело верить.

Новый анекдот оказался таков, что дамы долгое время только руками отмахивались, а студент ушел на корму и там тихонько захрюкал.

Но сам капитан хохотал так искренне, и в горле у него так вкусно что-то щелкало, что долго крепиться было нельзя, и дамы прыснули тоже.

За рассказом о дядюшке последовала повесть о дьячке и купчихе, затем о двух старухах, о прянике, о железнодорожном зайце, о еврейке и мышеловке, все смешнее и смешнее, все забористее и забористее.

Дамы совсем расслабли от смеха, как-то распарились и осели. Смеясь, уже выговаривали не «ха-ха» и не «хи-хи», а охали и стонали, утирая слезы.

Студент сидел тут же и так размяк, что хохотал даже при самом начале каждого анекдота, когда еще ничего смешного и сказано не было, брал на веру.

Капитан же был один сплошной кусок мягкого, сочного, трясущегося смеха. Он весь так пропитался своими анекдотами, что они точно брызгали из него, теплые, щекотные. Да и слушать его не надо было, а только смотреть на эти прыгающие щеки, вспотевшие круглые брови, всю эту колыхающуюся искренним смехом тыкву, чтобы самому почувствовать, как вдруг щеки начинают расплзаться и в груди что-то пищать — хи-ы!

После одного особенно удавшегося анекдота капитан повернулся немножко вправо и увидел компанию «аристократок». Они не смеялись. Они вполголоса сказали что-то друг другу, с недоумением пожали плечами и презрительно поджали губы.

«Жантильничают! — весело подумал капитан. — Ну погодите же! Вот я вам сейчас заверну такую штуку!»

Штука удалась на славу. Купчиху пришлось отпаивать водой. Одна из дам, обняв спинку скамейки, уперлась в нее лбом и выла, словно на могиле любимого человека.

Но те три «аристократки» только переглянулись и снова презрительно опустили глаза.

«И этого мало? Эге! — все еще весело думал капитан. — Скажите, какие святоши! Ну так я же вам расскажу про дьячка. Перестанете скромность напускать».

История с дьячком оказалась такова, что даже студент не выдержал. Он вскочил с места, уцепился

за борт обеими руками и, как лошадь, рыл палубу копытом.

Одна из дам истерически визгнула по-поросячьему. Остальные плакали и смеялись, и головы у них свисли на сторону.

— Гэ-гэ! — не унимался капитан. — Вы, медам, непременно этот анекдот расскажите своим мужьям. Только не говорите, что капитан вам рассказал. Это неудобно! Это не понравится! Вы прямо скажите, что все это произошло именно с вами. Вот уж тогда наверное понравится! Факт.

Но «аристократки» даже не шевельнулись.

— Так я же вас! — взвинчивался капитан. — Какие равноапостольные хари, скажите пожалуйста! Лицемерки! Только веселье портят.

Он все-таки как-то смутился и уже без прежнего аппетита рассказал еще один анекдот.

Слушательницы все равно уже плохо понимали, в чем дело, и только тихо стонали в ответ.

Когда рассказчик смолк, «аристократки» демонстративно поднялись и скрылись в свою каюту.

Все общество несколько сконфузилось.

— Уж больно важничают! — сказала купчиха. — Добродетель свою оказывают.

— Ужасно нам нужно! — подхватила другая дама.

— И не поклонились даже! Это чтоб подчеркнуть, что им за нас совестно, что мы такие гадости слушали.

Все разошлись быстро и, скрывая друг от друга свою смущенность, перебрасывались деловыми замечаниями насчет духоты, качки и маршрутов.

Капитан пошел на мостик и, отослав помощника спать, стал у руля.

На душе у него было худо и становилось еще хуже. Никогда ничего подобного он еще не испытывал.

«Старые дуры, чертовки! — думал он. — Ну, положим, я был не прав. Зачем рассказывать такие гадости женщинам. Женщин нужно уважать, потому что из них впоследствии выходят наши матери. А я еще про дьячка!»

Стало так тошно, что пришлось выпить коньяку.

— И те тоже хороши! Квохчут, как индюшки. Интеллигентные женщины! Дома мужья, дети, а они тут всякие мерзости смакуют! И я тоже хорош! Промышеловку при дамах! При да-а-мах! Ведь это пьяному городовому и то совестно такую гниль слушать! У-уф!

Он вздыхал, томился и в первый раз в жизни испытывал угрызения совести.

— Да, мне стыдно, — говорил он себе после бессонной ночи и бутылки коньяку. — Но что же из этого? Это только доказывает, что я не свинья... Что я могу испытывать святой стыд и могу уважать женщину, из которой впоследствии получается моя мать. Нельзя быть идиотической свиньей. Если ты грязен и из тебя прут анекдоты, то смотри, перед кем ты сидишь! И раз ты оскорбил цинизмом настоящую высокую женщину, то искупи вину!

Он принял ванну, причем, вопреки обыкновению, очень деликатно выругал матроса только скотиной и подлой душой, надел все чистое, хотел даже надушиться, но совсем забыл, как это делается, да и совестно стало.

— Эх ты! Туда же! Еще франтовство на уме в такую-то минуту.

Побледневший и точно осунувшийся, вышел он в столовую, где все ожидали его с завтраком.

Сделав общий поклон, он решительными шагами подошел прямо к «аристократкам» и сказал:

— Сударыни! Верьте искренности! Я так подавлен тем, что позволил себе вчера! Ради бога! Исключительно по необдуманности. Простите меня, я старый морской волк! Я грубый человек в силу привычки! Да-с! Но я понимаю, что подобный цинизм... женщина... при уважении...

— Да вы о чем? — с недоумением спросила одна из «аристократок».

— Простите! Простите, что я осмелился вчера при вас рассказывать!

Он чуть не плакал. Вчерашние хохотуны отворачивались друг от друга, сгорая от стыда. Бессарабский герой растерянно хлопал глазами. Минута была торжественная.

— Ах вот что! — сообразила вдруг «аристократка». — Да мы ничуть не в претензии! Просто мы были недовольны, что вы ни одного анекдота не рассказали правильно.

— Да, да! — подхватила другая. — Насчет еврейки вы весь конец перепутали. И про дьячка...

— Про дьячка, — перебила третья, — вы все испортили. Это вовсе не он был под кроватью, а сам муж. В этом-то и есть все смешное...

— Как же вы беретесь рассказывать и ничего толком не знаете! — пожурила его старшая.

Капитан повернулся, втянул голову в плечи и, весь поджавшись, как напроказивший сеттер, тихо вышел из комнаты.

ФАКИР

Великие события начинаются обыкновенно очень просто, так же просто, как и самые заурядные. Так, например, выстрел из пистолета Камилла Демулена начал Великую французскую революцию, а сколько раз пистолетный выстрел рождал только протокол полицейского надзирателя!

То событие, о котором я хочу рассказать, началось тоже очень просто, а великое оно или пустячное, предоставляю догадаться вам самим.

Ровно в пять часов утра на пустынную улицу маленького, но тем не менее губернского города вышел грязный парень, держа под мышкой кипу больших желтых листов.

Парень подошел к подъезду местного театра, поплевал, помазал и пришлепнул к дверям один из желтых листов. Сделал то же и на соседнем заборе.

Трудно только начало, а там пойдет. На каждом углу парень поплевывал и наклеивал свои листы.

Часов с восьми утра к нему присоединились местные мальчишки, и парень продолжал свою работу, сопровождаемый советуемой, ободряющей, ругающей и дерущейся толпой.

К вечеру дело было окончено, и, несмотря на то что городские пьяницы ободрали все углы на сигарки, а мальчишки исправили текст собственными, необходимыми, по их мнению, примечаниями, население города узнало все, что объявлялось на больших желтых листах.

«В четверг сего 20 июня в городском театре состоится необычайное представление проездного фа-

кира. Прокалывание языка, поражающее техникой, жены мисс Джильды, колотье булавками рук и ног в кровь, разрезывание поперек собственного живота и выворачивание глаза из орбит в присутствии науки в лице докторов и желающих из публики.

Разрешено полицией без испытания боли. Цена местам обыкновенная».

Публика заволновалась. В особенности интриговали ее слова: «разрезывание поперек собственного живота». Кого он будет резать? Или сам себе резать живот поперек. И что значит «разрешено полицией без испытания боли»? То ли что полиция разрешила, если не будет факиру больно, или просто выдала ему разрешение, не отколотив предварительно в участке?

Билеты раскупались.

Молодой купец Мясорыбов, человек непьющий, образованный и даже любивший прихвастнуть, будто «читал Баранцевича в оригинале», отнесся к ожидаемому спектаклю совсем по-столичному. Взял для себя ложу и решил сидеть один. Купил коробку конфет и надел на указательный палец новое кольцо с бирюзой.

Кольцо это Мясорыбов носил редко, потому что сомневался в его истинности. Да и как ни поверни — все лучше ему в комод лежать: коли камень настоящий — носить жалко, а коли поддельный — совестно. Один армянин советовал, как узнать наверное: «Окуни, — говорит, — ты его в прованское масло. Если бирюза настоящая — сейчас же испортится, и ни к черту! А поддельный хоть бы что». Но совет этот Мясорыбов берег на крайний случай.

В четверг к восьми часам вечера театр был почти полон.

Многие собрались рано, часов с шести, и ворчали, что долго не начинают.

— Видят ведь, что публика уж пришла, ну и начинай!

Мясорыбов пришел по-аристократически, только за полчаса до начала, сел в своей ложе вполуборот и тотчас же начал есть конфеты. Каждый раз, когда подносил ко рту, публика могла любоваться загадочной бирюзой.

Занавес все время был поднят. Посреди сцены стоял небольшой стол, на нем — длинная шкатулка. Вокруг стола, в некотором отдалении, — дюжина венских стульев, и, что заинтересовало публику сильнее всего, в углу за пианино сидел местный тапер, пан Врушкевич, и потирал руки, явно показывая, что скоро заиграет.

Наконец вышел факир.

Он был худой и желтый, в длинном зеленом халате, и вел за руку некрасивую, безбровую женщину в зеленом платье, от одного куска с его халатом.

Подошел к рампе, раскланялся и сказал:

— Прошу господ врачей и несколько человек из публики пожаловать сюда.

Галерка вслух удивилась, что он говорит по-русски, а не по-факирски.

На сцену по перекинутой дощечке сконфуженно поднялись два врача: хохлатый земский и лысый вольнопрактикующий. Публика сначала стеснялась, потом полезла всем партером. Факир отобрал во семь человек посolidнее и рассадил всех на места. Затем сбросил халат и оказался в коротких велоси-

педных штанах и туфлях на босу ногу. В этом новом виде он подошел к рампе и снова раскланялся, точно боялся, что без халата не приняли бы его за кого другого.

Галерка зааплодировала.

Тогда он повернулся к таперу:

— Прошу музыку начинать!

Пан Врушкевич колыхнулся всем станом и ударил по клавишам. Уши слушателей сладостно защекотал давно знакомый вальс «Я обожаю».

Факир открыл свою шкатулку, вытащил длинную шпильку, вроде тех, которыми дамы прикалывают шляпки, и подошел к жене.

— Мисс Джильда! Попрошу сюда вашего языка.

Мисс Джильда сейчас же обернулась к нему и любезно вытянула язык.

— Раз, два и три! — воскликнул факир и проткнул ей язык шпилькой.

— Попрошу свидетельства науки! — сказал факир, обращаясь к врачам.

Те подошли, посмотрели, причем земский, как более добросовестный, даже присел, подглядывая под язык Джильды с изнанки. Затем оба смущенно сели на свои места.

Факир взял жену за руку и повел по дощечке к публике. Там она стала проходить по всем рядам.

Зрители, мимо которых она проходила, отворачивались, и видно было, что многих тошнит.

Мясорыбов прикрыл глаза рукой.

— Довольно уж! Довольно! — стонал он.

— Довольно! — подхватили и другие.

Но факир был человек добросовестный и поволок свою жену с языком на галерку.

Там какая-то баба вдруг запричитала, и ее стали выводить.

Обойдя всех, факир вернулся на сцену и вытаскивал шпильку.

Все вздохнули с облегчением.

Факир достал из шкатулки другую шпильку, подлиннее и потолще.

Увидя это, пан Врушкевич переменял тон и заиграл «Смотря на луч пурпурного заката».

Факир подошел к рампе и проткнул себе обе щеки, так что головка шпильки торчала под правой скулой, а острие из-под левой. В таком виде, показавшись сконфуженным докторам, он снова двинулся в публику.

— Ой, довольно! Ой да полно же! — вопил Мясорыбов и от тошноты даже выплюнул конфетку изо рта.

— О господи! — роптала публика. — Да нельзя же так!

Но честный факир честно ходил между рядами и поворачивался то правой, то левой щекой.

— Ой, не надо! — корчилась публика. — Верим-верим. Не надо к нам подходить! И так верим!

Какой-то чиновник, подхватив под руку свою даму, быстро побежал к выходу. За ним следом сорвались с места две барышни. За ними заковыляла старуха, уводя двух ревущих во все горло девчонок; по дороге старуха наткнулась на факира, свершавшего свои рейсы как раз в этом ряду, шарахнулась в сторону, толкнула какую-то и без того насмерть перепуганную даму. Обе завизжали и, подталкивая друг друга, бросились к выходу.

Но больше всех веселился Мясорыбов.

Он сидел в своей ложе, повернувшись спиной к залу, и даже заткнул уши. Изредка осторожно оборачивался, смотрел, где факир, и, увидя его, весь содрогался и прятался снова.

— Довольно! Ох, довольно! — стонал он. — Нельзя же так.

А пан Врушкевич заливался: «Стояли мы на бере-гу Невы!»

Но вот факир снова на сцене. Все обернулись, ждут, надеются.

Из дверей выглянули бледные лица малодушных, сбежавших раньше времени.

Факир вынул три новые шпильки. Одной он проткнул себе язык, не вынимая той, которая торчала из щеки, две другие всадил себе в руки повыше локтя, причем из правой вдруг брызнула кровь.

— Настоящая кровь, — твердо и радостно определил земский хохлач.

«Гайда, тройка! — раскатился пан Врушкевич. — Снег пушистый!»

Кого-то под руки поволокли к выходу.

Полицейский, зажав рот обеими руками, деловым шагом вышел из зала.

Зал пустел.

Мясорыбов уже не оборачивался. Он весь скорчился, закрыл глаза, заткнул уши и не шевелился.

— Уйти бы! — томился он, но какая-то цепкая ночная жуть сковала ему ноги, и он не мог пошевелиться. Зато волосы на его голове шевелились сами собой.

Когда факир обошел стонущие ряды своих зрителей, умолявших его вернуться на место и перестать, Мясорыбов инстинктивно обернулся и уви-

дел, как факир, вытащив из себя все шпильки, радостно воскликнул:

— Ну-с, а теперь приступим к выворачиванию глаза из его орбиты и затем между глазом и его вместилищем просунем вот эту палочку.

Он подошел к шкатулке, но уже никто не стал дожидаться, пока он достанет палочку. Все с криком, давя и толкая друг друга, кинулись к выходу. Иные, быстро одевшись, бросились сломя голову на улицу, другие опомнились и стали любопытствовать:

— Что-то он там теперь? А? Может быть, уже вывернул, тогда можно, пожалуй, и вернуться. А?

Какой-то долговязый гимназист приоткрыл дверь и взглянул в щелочку.

«Поцелуем дай забвенье!» — нежно пламенел пан Врушкевич.

— Ну что? Вывернул?

— Пойдите, не давите мне на спину, — важничал гимназист. — Нет, еще выворачивает.

— О господи! Ой да закройте вы двери-то! — закорчились любопытствующие, но через минуту раззадоривались снова.

— Ну а как теперь? Да вы взгляните, чего же вы боитесь, экой какой! Выворачивает? Ой да крикните ему, что довольно, господи!

— Иди, брат Мясорыбов, домой, — сказал сам себе Мясорыбов. — Не тебе, брат Мясорыбов, по театрам ходить. С суконным рылом в калашный ряд. По театрам ходят люди понимающие и с культурной природой. А ежели тебе, брат Мясорыбов, скучно, так на то водка есть!

Мясорыбов спился.

РЕВНОСТЬ

Почти каждый день найдете вы в газетах известие о том, что кто-нибудь совершил убийство из ревности. И до такой степени стало это обычным, что даже не дочитываешь до конца, — все равно знаешь наперед, что из ревности.

Да и не одно убийство! Самые разнообразные преступления и проступки объясняются ревностью.

Чтобы бороться с этим ужасным злом, французы выстроили даже специальную лечебницу для ревнивых и пользуют их с большим успехом.

Чувствуется, что не сегодня-завтра найдут микроб ревности, и тогда дело будет поставлено вполне на научных основаниях.

Да и пора.

Ревность в человечестве растет и ширится и захватывает, казалось бы, совсем не подведомственные ей учреждения.

Как вам, например, понравится такая история:

«Крестьянин Никодим Д., проживающий на Можайской улице, пришел к своей знакомой мещанке Анисье В. и стал требовать от нее денег. Когда же Анисья денег дать отказалась, крестьянин Д. из ревности перерезал ей горло».

Недаром писал Соломон: «Люта, как преисподняя, ревность!»

«Мещанин К. убил лавочника и ограбил выручку. Преступление свое объясняет ревностью».

Недавно на Николаевском вокзале арестовали известного железнодорожного вора. Пойманный как раз в ту минуту, когда тащил бумажник из кармана зазевавшегося пассажира, вор объяснил свой посту-

пок сильной вспышкой ревности. По его словам, и все предыдущие кражи он совершал под влиянием этого грозного чувства.

Присяжные, сами в большинстве случаев люди ревнивые, всегда оправдывают преступления из ревности.

А сколько ужасов, никому не известных или известных очень немногим, причиняет супружеская ревность!

Одна молодая дама приехала весной к себе домой из Гостиного двора. Извозчик ей попался на белой лошади, которых многие избегают в весеннее время, чтобы не пачкать платье.

Муж встретил даму очень сурово и, окинув взглядом ее костюм, воскликнул со злым торжеством:

— И вы будете отрицать, что ездили на свидание!

Дама отрицала, объясняла, показывала сделанные ею покупки.

— Хорошо-с! — холодно ответил муж. — Но не будете ли вы любезны открыть мне имя старика, который лиял на ваше платье?

И он указал на клочья белых лошадиных волос, прилипшие к коленям несчастной.

Пораженная неопровержимой уликой, бедная женщина тут же согласилась на развод, взяла на себя вину и обязанность выплачивать алименты пострадавшей стороне, которая с большим трудом утешилась, женившись на собственной кухарке.

Но тяжелее и хуже всех этих убийств одна тихая семейная драма, о которой из посторонних знала только я одна, и то случайно. Потом скажу, почему я об этом знаю.

Здесь речь идет о ревности, которая втерлась в душу любящей женщины, развратила ее любящего и верного мужа и разрушила многолетний союз.

Жили эти супруги очень дружно в продолжение шести лет. Срок немалый для современного чувства.

Вот как-то приехала к жене, которую назовем для удобства Марьей Ивановной (собственно говоря, для моего удобства, потому что, рассказывая о двух женщинах, из которых каждая в отдельности «она», очень легко запутаться), ее приятельница и осталась обедать.

Подруги сидели уже за столом, когда прибежал со службы муж Марьи Ивановны. Обедали, разговаривали.

Только замечает Марья Ивановна, что муж ее что-то неестественно оживлен. Она стала приглядываться.

Когда гостя ушла, Марья Ивановна сказала мужу:

— Неужели она тебе так понравилась?

— Да, она славная, — отвечал тот.

— Что же тебе в ней так понравилось?

— Да просто я в хорошем настроении. Мне сегодня обещали прибавку и отпуск.

Дело, казалось бы, естественное, но Марья Ивановна, как тонкий психолог, поняла, что это просто мужской выверт, и продолжала:

— У нее чудные глаза! Не правда ли?

— Да? Не заметил. Нужно будет поглядеть.

— Что за руки! Нежные, ласковые! Так и хочется поцеловать! Правда? Я приглашу ее завтра. Хорошо?

— Хорошо, хорошо. Нужно будет посмотреть на нее повнимательнее, раз ты так восхищаешься.

На другой день муж внимательно смотрел на приятельницу и часто целовал ей руки, а Марья Ивановна думала: «Ага!»

Через два дня, когда он сильно опоздал к обеду, Марья Ивановна сказала, поджимая губы:

— Ты был на набережной и гулял с Лизой.

— Что-о?!

— Пожалуйста, не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что она в эти часы гуляет по набережной. Конечно, тебе приятно пройтись с такой красивой женщиной, на которую все оборачиваются. Это, говорят, совсем особенное чувство.

Муж Марьи Ивановны, человек молодой и по натуре довольно увлекающийся, хотя и сдержанный, немножко призадумался. Думал он дня два, а на третий, выходя со службы, нанял извозчика прямо на набережную, разыскал там приятельницу своей жены и проводил ее домой.

— Ты, конечно, уже пригласил ее с собой в театр? — спросила его Марья Ивановна, наливая остывший суп.

Муж растерянно пожал плечами, — ему и в голову не пришло!

Но через несколько дней он уже исправил свою ошибку и повел приятельницу жены в «Фарс».

На другое утро Марья Ивановна сказала ему:

— Где вы ужинали?

Он молчал. Ему стыдно было признаться, что он не догадался пригласить свою даму в ресторан.

— Я вас спрашиваю, где вы с ней вчера ужинали? — гневно настаивала Марья Ивановна и, не дождавшись ответа, ушла, хлопнув дверью.

Целую неделю она с мужем не разговаривала.

Бедняк мучился несказанно. Он уже успел за это время побывать с приятельницей в ресторане, но совершенно не знал, что ему делать дальше. Без опытных наставлений жены он был как без рук.

«Что мне делать! Что мне делать! — думал он. — Нельзя же все гулять да ужинать! Надоест!»

На седьмой день жена сказала, презрительно поджимая губы:

— Чего же вы сегодня дома? Такая чудная погода. Везите вашу пассию в Павловск! Целуйтесь с ней под каждым кустом! Вы думаете, я не знаю, куда вы с ней ездите? Ха-ха!

Муж схватил пальто и радостно выбежал на улицу. Теперь, слава богу, он знал, что нужно делать.

Через неделю жена наклеила на окна билетики.

— Раз вы решили с осени жить вместе, — с достоинством объяснила она, — то я хочу вовремя сдать квартиру. Для меня одной она слишком велика.

Муж вздохнул и пошел к приятельнице. К его удивлению, та выслушала его очень сухо и даже как будто не совсем поняла, чего он хочет.

— Я вижу, — сказала она, — что вы придаете слишком серьезное значение нашему маленькому флирту. Лучше расстанемся.

Он не огорчился, а только растерялся и пошел к жене за дальнейшими указаниями.

Она и слушать его не стала.

— Я все знаю! Все! У вас мало денег, и вы требуете, чтобы я обеспечила вашу новую семью!

Он так привык слушаться ее в своих любовных делишках, что бессознательно повторил:

— Требую! Требую!

Она заплакала.

— Теперь вы на меня кинетесь с кулаками!.. За то, что я... не захочу-у-у!

— Подлая! — заорал он вдруг и, вскочив с места, стал изо всей силы трясти ее за плечи. — Подлая! Обеспечь нас всех! Всех обеспечь сейчас же!

Подруга была очень удивлена, когда узнала, что неизвестное лицо положило в банк деньги на ее имя.

У Марьи Ивановны она больше не бывала. Сама Марья Ивановна от доброй встряски точно иссякла и не могла больше обдумывать делишки своего мужа.

Оба скоро успокоились и считали, что дешево отделались от урагана страсти, чуть не разбившей их семейную жизнь.

Ревность — штука лютая. Заставит ли она убить любимого человека или женить его на сопернице, — и то и другое хлопотно и неприятно.

И если у нас построят лечебницу для ревнивых, то я чистосердечно готова приветствовать благое начинание.

P. S. Я еще забыла сказать, откуда я узнала в таких подробностях о рассказанной мною трагической истории. Очень просто: я ее сама выдумала.

АРАБСКИЕ СКАЗКИ

Осень — время грибное.

Весна — зубное.

Осенью ходят в лес за грибами.

Весною — к дантисту за зубами.

Почему это так — не знаю, но это верно.

То есть не знаю о зубах, о грибах-то знаю. Но почему каждую весну вы встречаете подвязанные щеки у лиц, совершенно к этому виду неподходящих: у извозчиков, у офицеров, у кафешантанных певцов, у трамвайных кондукторов, у борцов-атлетов, у беговых лошадей, у теноров и у грудных младенцев?

Не потому ли, что, как метко выразился поэт, «выставляется первая рама» и отовсюду дует?

Во всяком случае, это не такой пустяк, как кажется, и недавно я убедилась, какое сильное впечатление оставляет в человеке это зубное время и как остро переживается самое воспоминание о нем.

Зашла я как-то к добрым старым знакомым на огонек. Застала всю семью за столом, очевидно, только что позавтракали. (Употребила здесь выражение «на огонек», потому что давно поняла, что это значит просто без приглашения, и «на огонек» можно зайти и в десять часов утра, и ночью, когда все лампы погашены.)

Все были в сборе. Мать, замужняя дочь, сын с женой, дочь-девица, влюбленный студент, внучка бонна, гимназист и дачный знакомый.

Никогда не видела я это спокойное буржуазное семейство в таком странном состоянии. Глаза у всех горели в каком-то болезненном возбуждении, лица пошли пятнами.

Я сразу поняла, что тут что-то случилось. Иначе почему бы все были в сборе, почему сын с женой, обыкновенно приезжавшие только на минутку, сидят и волнуются.

Верно, какой-нибудь семейный скандал, и я не стала расспрашивать.

Меня усадили, наскоро плеснули чаю, и все глаза устремились на хозяйского сына.

— Ну-с, я продолжаю, — сказал он.

Из-за двери выглянуло коричневое лицо с пушистой бородавкой: это старая нянька слушала тоже.

— Ну так вот, наложил он щипцы второй раз. Болица адская! Я реву как белуга, ногами дрыгаю, а он тянет. Словом, все как следует. Наконец, понимаете, вырвал...

— После тебя я расскажу, — вдруг перебивает бабышня.

— И я хотел бы... Несколько слов, — говорит влюбленный студент.

— Подождите, нельзя же всем сразу, — останавливает мать.

Сын с достоинством выждал минуту и продолжал:

— ...Вырвал, взглянул на зуб, расшаркался и говорит: «Pardon, это опять не тот!» И лезет снова в рот за третьим зубом! Нет, вы подумайте! Я говорю: «Милостивый государь! Если вы...»

— Господи помилуй! — охает нянька за дверью. — Им только дай волю...

— А мне дантист говорит: «Чего вы боитесь?» — сорвался вдруг дачный знакомый. — «Есть чего бояться! Я как раз перед вами удалил одному пациенту все сорок восемь зубов!» Но я не растерялся и говорю: «Извините, почему же так много? Это, верно, был не пациент, а корова!» Ха-ха!

— И у коров не бывает, — сунулся гимназист. — Корова млекопитающая. Теперь я расскажу. В нашем классе...

— Ш-ш! Ш-ш! — зашипели кругом. — Не перебивай. Твоя очередь потом.

— Он обиделся, — продолжал рассказчик, — а я теперь так думаю, что он удалил пациенту десять зубов, а пациент ему самому удалил остальные!.. Ха-ха!

— Теперь я! — закричал гимназист. — Почему же я непременно позже всех?

— Это прямо бандит зубного дела! — торжествовал дачный знакомый, довольный своим рассказом.

— А я в прошлом году спросила у дантиста, долго ли его пломба продержится, — заволновалась барышня, — а он говорит: «Лет пять, да нам ведь и не нужно, чтобы зубы нас переживали». Я говорю: «Неужели же я через пять лет умру?» Удивилась ужасно. А он надулся: «Этот вопрос не имеет прямого отношения к моей специальности».

— Им только волю дай! — раззадоривается нянька за дверью.

Входит горничная, собирает посуду, но уйти не может. Останавливается как замороженная с подносом в руках. Краснеет и бледнеет. Видно, что и ей много есть чего порассказать, да не смеет.

— Один мой приятель вырвал себе зуб. Ужасно было больно! — рассказал влюбленный студент.

— Нашли что рассказывать! — так и подпрыгнул гимназист. — Очень, подумаешь, интересно! Теперь я! У нас в кла...

— Мой брат хотел рвать зуб, — начала бонна. — Ему советуют, что напротив по лестнице живет дантист. Он пошел, позвонил. Господин дантист сам ему двери открыл. Он видит, что господин очень симпатичный, так что даже не страшно зуб рвать. Говорит

господину: «Пожалуйста, прошу вас, вырвите мне зуб». Тот говорит: «Что ж, я бы с удовольствием, да только мне нечем. А очень болит?» Брат говорит: «Очень болит; рвите прямо щипцами». — «Ну разве что щипцами!» Пошел, поискал, принес какие-то щипцы, большие. Брат рот открыл, а щипцы и не влезают. Брат и рассердился: «Какой же вы, — говорит, — дантист, когда у вас даже инструментов нет?» А тот так удивился. «Да я, — говорит, — вовсе и не дантист! Я — инженер». — «Так как же вы лезете зуб рвать, если вы инженер?» — «Да я, — говорит, — и не лезу. Вы сами ко мне пришли. Я думал, вы знаете, что я инженер, и просто по человечеству просите помощи. А я добрый, ну и...»

— А мне фершал рвал, — вдруг вдохновенно воскликнула нянька. — Этакий был подлец! Ухватил щипцом, да в одну минутку и вырвал. Я и дыхнуть не успела. «Подавай, — говорит, — старуха, полтинник». Один раз повернул — и полтинник. «Ловко, — говорю. — Я и дыхнуть не успела!» А он мне в ответ: «Что ж вы, — говорит, — хотите, чтоб я за ваш полтинник четыре часа вас по полу за зуб волочил? Жадны вы, — говорит, — все, и довольно стыдно!»

— Ей-богу, правда! — вдруг взвизгнула горничная, нашедшая, что переход от няньки к ней не слишком для господ оскорбителен. — Ей-богу, все это — сущая правда. Живодеры они! Брат мой пошел зуб рвать, а дохтур ему говорит: «У тебя на этом зубе четыре корня, все переплелись и к глазу приросли. За этот зуб я меньше трех рублей взять не могу». А где нам три рубля платить? Мы люди бедные! Вот брат подумал да и говорит: «Денег таких у меня при себе нету, а вытяни ты мне этого зуба

сегодня на полтора рубля. Через месяц расчет от хозяина получу, тогда до конца дотянешь». Так ведь нет! Не согласился! Все ему сразу подавай!

— Скандал! — вдруг спохватился, взглянув на часы, дачный знакомый. — Три часа! Я на службу опоздал!

— Три? Боже мой, а нам в Царское! — вскочили сын с женой.

— Ах! Я Бэбичку не накормила! — засуетилась дочка.

И все разошлись, разгоряченные, приятно усталые.

Но я шла домой очень недовольная. Дело в том, что мне самой очень хотелось рассказать одну зубную историю. Да мне и не предложили.

«Сидят, — думаю, — своим тесным, сплоченным буржуазным кружком, как арабы у костра, рассказывают свои сказки. Разве они о чужом человеке подумают? Конечно, мне, в сущности, все равно, но все-таки я — гостя. Неделикатно с их стороны».

Конечно, мне все равно. Но тем не менее все-таки хочется рассказать...

Дело было в глухом провинциальном городишке, где о дантистах и помину не было. У меня болел зуб, и направили меня к частному врачу, который, по слухам, кое-что в зубах понимал.

Пришла. Врач был унылый, вислоухий и такой худой, что видно его было только в профиль.

— Зуб? Это ужасно! Ну, покажите!

Я показала.

— Неужели болит? Как странно! Такой прекрасный зуб! Так, значит, болит? Ну, это ужасно! Такой зуб! Прямо удивительный!

Он деловым шагом подошел к столу, разыскал какую-то длинную булавку — верно, от жениной шляпки.

— Откройте ротик!

Он быстро нагнулся и ткнул меня булавкой в язык. Затем тщательно вытер булавку и осмотрел ее, как ценный инструмент, который может еще не раз пригодиться, так чтобы не попортился.

— Извините, мадам, это все, что я могу для вас сделать.

Я молча смотрела на него и сама чувствовала, какие у меня стали круглые глаза.

Он уныло повел бровями.

— Я, извините, не специалист! Делаю, что могу!..

Вот я и рассказала.

МАСКИ

У нас любят рядиться на Святках и прятаться под маску, но что в этом веселого, — право, никто объяснить не сумеет. Я понимаю, как чувствует себя француз, надевая маску.

— Но-la-la!

Про каждого из своих добрых знакомых он знает сотни штук и тысячи маленьких гадостей, на которые так приятно намекнуть, а еще приятнее сказать прямо в глаза!

Но в обыденной жизни и с открытым лицом это невозможно. Еще поколотят! Да и к чему ссориться?

То ли дело в маскараде.

— Madame! Брюнет, которым вы интересовались в сентябре прошлого года, передал известный вам ключ одной из ваших приятельниц. Какой? Если позволите, я намекну...

Тонкая интрига заплетается, расплетается.

Отправляясь на маскарад, француз заранее придумывает, с кем и о чем говорить, как устроить, чтобы было занятно, и весело, и тонко, чтобы можно было немножко рискнуть, немножко провиниться и все-таки «*са не tire pas à consequence*»¹.

Русский человек маскируется мрачно.

Прежде всего и главнее всего — это чтобы его не узнали. И для чего ему это нужно, одному Богу известно, потому что ни балагурить, ни шутить, ни интриговать он никогда не будет.

Приедет на костюмированный вечер, встанет где-нибудь у печки и молчит. Слова из него не выжмешь. А кругом все стараются:

— Да это Иван Петрович! По рукам видно! Иван Петрович, снимите маску!

Но маска пыжится, прячет руки и молчит, пока не удостоверится, что узнана раз навсегда и бесповоротно. Тогда со вздохом облегчения открывает лицо и идет чай пить. Потом помогает узнавать другие маски.

Долго не узнанные томятся.

Им жарко, душно и смертельно скучно.

Зато на другой день хвастаются:

— Весело вчера было?

— Ну еще бы! Меня так до конца и не узнали! Нарочно весь вечер ни с кем не разговаривал.

¹ Это не имеет никаких последствий (*фр.*).

— Всех надул! — мрачно веселится вчерашняя маска. — Поди, до сих пор не угадали, что это был я. Сегодня отдохну денек, а завтра снова в маскарад. А то уж очень жарко! Два дня подряд — организм не вынесет.

Тоска в наших маскарадах смертельная!

Распорядители из кожи вон лезут, придумывая «трюки».

Ничто не помогает!

Жмутся по углам тоскливые маски и все боятся, как бы их не узнали!

Изредка мелькнет нелепым диссонансом какой-нибудь веселый Пьеро или Арлекин. Взвизгнет, перекувырнется.

Но от него все норвят подальше. Еще, мол, в историю впутаетесь.

Если, не приведи бог, затешется в маскарадную толпу настоящий остряк и весельчак (чего на свете не бывает!), — ему несдобровать.

Слушать его будут молча, на шутки не ответят.

В прорези масок заблестят злые огоньки и скажут:

— А сорвать с него маску да вздуть хорошенько, так не стал бы тут растабарывать!

— Туда же, шутник!

Хозяева к острякам тоже относятся подозрительно.

— Афимья! — кричат кухарке. — Ты там посматривай за галошами. Мы отвечать не можем. В маске-то каждый притвориться может. А кто его знает, что у него на уме! Шутники!

Но такие шутники на русском маскараде редки до чрезвычайности. И то они склонны скорее поку-

карекать петухом или поквакать лягушкой, чем завести тонкую интригу.

Даже любители анонимных писем, завязтые сплетники и вруны, и те, надев маску, думают только о сохранении своего инкогнито.

— Маска, ты меня знаешь? — спрашивает у сплетника дама, которую он сразу узнал и про которую чересчур много знает.

Но он мычит в ответ, хотя сердце его разрывается от желания поязвить безнаказанно.

Особенно жестоко веселятся на Святках в провинции.

Каждый вечер рядятся и ездят по домам.

— Ряженные приехали!

Хозяева встречают их в гостиной молча. Молча входят маски.

Кто-нибудь заиграет на рояле. Маски молча протанцуют и молча уйдут.

Поедут к другим знакомым, и опять то же.

Уж такое беспросветное удовольствие!

У помощника исправника был сынок. Страшно любил наряжаться и маскироваться.

Из гимназии его выгнали, так что досугу было много. На Святках наряжался, в будни вспоминал.

Юноша был здоровьем слаб и к концу Святков еле держался на ногах.

— Да посмотрите, — жаловалась его мать, — на что он похож стал! Ведь краше в гроб кладут.

— Зато никто меня ни разу не узнал! — хвастался сынок. — Двадцать раз маскировался, — и никто! У головы до утра молча просидел, маски не снимал. И ужинать не стал. Начну, думаю, есть — еще узнает кто. Худо мне стало под конец, прямо дышать не-

чем. Закрыв глаза, даже сомлел на минутку. Сижу, держусь за стол руками, дотяну ли до утра, сам не знаю.

— Вот видите! — горюет мать. — Не бережет он себя, загубит здоровье!

Но сын остановил ее строго:

— Нечего, маменька! Вы свое пожили, так дайте и другим. Мне ведь тоже повеселиться хочется.

И мать замолчала. Потому что сама знала, что значит русский маскарад.

Тяжело, а ничего не поделаешь!

РАЗГОВОРЫ

Кто не видел Айседоры Дункан, Мод Аллан, Стефании Домбровской и прочих босоножек, разговаривающих ногами!

Многие русские артистки уже изучают это искусство.

И хорошо делают.

У нас, в России, это большое подспорье. Уж слишком плохо мы говорим языком. Немногие из нас могут быть уверены, что скажут именно то, что хотят. Рады, если дадут себя понять хоть приблизительно.

Ни на одном языке в мире нет такого удивительного оборота фразы, как, например, в следующем диалоге:

- Уж и поговорить нельзя?
- Я тебе поговорю!
- Уж и погулять нельзя?
- Я тебе погуляю!

Весь смысл этих странных обещаний ясно заключается только в интонации, с которой произносится фраза. Вне интонации смысл утрачивается.

Переведите эту фразу французу. То-то удивится!

А я недавно слышала целый разговор, горячий и сердитый, когда ни один из собеседников ни разу не сказал того слова, которое хотел.

Понимали друг друга только по интонации, по выпученным глазам и размахивающим рукам.

Ах, как бы здесьгодились хорошо дрессированные ноги!

Дело происходило в центральной кассе театров. Было это накануне какой-то премьеры, так что народу в маленьком помещении кассы толпилось масса, давили друг друга, пролезали «в хвост».

Вдруг появляется какая-то личность в потертом пальто и быстрыми шагами направляется к кассе, не выжидая очереди.

Стоявший у двери швейцар остановил:

— Потрудитесь стать в очередь!

Личность огрызнулась:

— Оставьте меня в покое!

Тут и начался разговор. Оба говорили совсем не то, что хотели, с грехом пополам понимая друг друга по интонации.

— Тут не оставление, а потрудитесь тоже порядочно знать! — сказал швейцар с достоинством.

Фраза эта значила, что личность должна вести себя прилично.

Личность поняла и ответила:

— Вы не имеете права через предназначение, как стоять у дверей. И так и знайте!

Это значило: ты — швейцар и не суйся не в свое дело.

Но швейцар не сдавался.

— Должен вам сказать, что вы напрасно относитесь. Не такое здесь место, чтобы относиться! (Не затевай скандала!)

— Кто кому и куда — это уж позвольте, пожалуйста, другим знать! — взбесилась личность.

Что значила эта фраза, я не понимаю, но швейцар понял и отпарировал удар, сказав язвительно:

— Вы опять относитесь! Если я теперь тут стою, то, значит, совершенно напрасно каждый себя может понимать, и довольно совестно при покупающей публике, и надо совесть понимать. А вы совести не понимаете.

Швейцар повернулся к личности спиной и отошел к двери, показывая равнодушным выражением лица, что разговор окончен.

Личность сердито фыркнула и сказала последние уничтожающие слова:

— Это еще очень даже неизвестно, кто относится. А другой по нахальству может чести приписать на необразованность.

После чего смолкла и покорно стала в «хвост».

И мне представлялось, что оба они, вернувшись домой, должны же будут проболтаться кому-нибудь об этой истории. Но что они расскажут? И понимают ли сами, что с ними случилось?

Летом мне пришлось слышать еще более трагическую беседу.

Оба собеседника говорили одно и то же, говорили томительно долго и не могли договориться и понять друг друга.

Они ехали в вагоне со мною, сидели напротив меня. Он — офицер, пожилой, озабоченный. Она — барышня.

Он занимал ее разговором о даче и деревне.

Собственно говоря, оба они внутренне говорили следующую фразу:

«Кто хочет летом отдохнуть, тот должен ехать в деревню, а кто хочет повеселиться, пусть живет на даче».

Но высказывали они эту простую мысль следующим приемом.

Офицер говорил:

— Ну конечно, вы скажете, что природа и там вообще... А дачная жизнь — это все-таки... Разумеется...

— Многие любят ездить верхом, — отвечала барышня, смело смотря ему в глаза.

— А соседей, по большей части, мало. На даче сосед — пять минут ходьбы, а в де...

— Ловить рыбу очень занимательно, только не...

— ...деревне пять верст езды!

— ...неприятно снимать с крючка. Она мучится...

— Ну и конечно, разные спектакли, туалеты...

— В деревне трудно достать режиссера.

— Ну что там! Из Парижа специальные туалеты выписывают. Разве можно при таких условиях поправиться?

— Нужно пить молоко.

Офицер посмотрел на барышню подозрительно:

— Уж какое там молоко! Просто какая-то окись!

— Ах нет, у нас всегда чудесное молоко!

— Это из Петербурга-то в вагонах привозят чудесное? Признаюсь, вы меня удивляете.

Барышня обиделась.

— У нас имение в Смоленской губернии. При чем же тут Петербург?

— Тем стыднее! — отрезал офицер и развернул газету.

Барышня побледнела и долго смотрела на него страдающим взором.

Но все было кончено.

Вечером, когда он, сухо попрощавшись, вылез на станции, она что-то царапала в маленькой записной книжке.

Мне кажется, она писала:

«Мужчины — странные и прихотливые создания! Они любят молоко и рады возить его с собой всюду из Петербурга...»

А он, должно быть, рассказывал в это время товарищу:

— Ехала со мной славненькая барышня. Но около Тулы оказалась испорченной до мозга костей, как и все современные девицы. Все бы им только наряжаться да веселиться. Пустые души!..

Если бы этот офицер и эта барышня не игнорировали школу великой Айседоры, может быть, их знакомство и не кончилось бы так пустоцветно.

Уж ноги, наверное, в конце концов заставили бы их сговориться!

ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН

Осень для нас, несчастных неврастеников, время очень тяжелое!

Во-первых, темно, во-вторых, мокро, в-третьих, холодно.

Это на улице. А дома — самое густое разочарование в жизни. Жизнь надувает человека именно осенью.

Каждую весну вы думаете:

«Вот летом сделают ремонт в квартире, и все пойдет иначе. Осенью поставлю диван углом, рояль поверну боком... Как можно будет весело разговаривать вот на этих двух креслах, под пальмой, вдвоем... Вдвоем, так уж все равно — с кем; ведь с осени все люди будут совсем другими. А если на старую оттоманку да положить подушку с голубыми разводами, так, пожалуй, и муж перестанет в клуб бегать».

За лето эти туманные надежды вырастают в уверенность, в начале сентября диван ставится углом, кресла — боком, рояль — хвостом вперед, а в конце сентября вы уже ясно понимаете, что жизнь вас обошла и надула кругом и заставила совершенно напрасно поднимать весь этот дым коромыслом. Все осталось по-прежнему, по-прошлогоднему, и прежние люди удивляются прошлогодними словами, зачем вы все перевернули вверх дном.

Тогда вы захотите забыться и пойдете в театр.

Не ходите в театр!

Там будут подходить к вам полужнакомые, давно забытые скверные физиономии и, если вы очень сухопары, скажут вам, что вы за лето еще осунулись; если толсты — что вас разнесло; если бледны, спросят, как ваши делишки; и если стары, заметят вскользь, что лета дают себя знать.

Намекнут, попрекнут, лягут и уйдут. Как пух на болоте. И вспомнить потом трудно. Было что-то скверное, а в чем дело, даже и не поймешь.

Нет, если у вас осенняя неврастения, сидите дома и читайте французский роман. Это единственное, что может вас спасти.

Хороший французский роман среднего французского романиста.

Наш русский роман очень беспокоен. То у нас «опрокидонт» и «дьякон налил по третьей — выпили», то вдруг изменившая мужу попадья стала зыбиться огненными столбами. Всего этого неврастенику безусловно нельзя. Он либо повесится, либо переколотит всю посуду в доме.

Не таков французский роман. Он спокоен, длинен и хорош уже тем, что, при всей своей видимой простоте, ничего общего с действительной жизнью не имеет.

Французский роман, как и все на свете, тоже эволюционирует.

Прежде, лет двадцать тому назад, героине его было только сорок пять лет. «Прелестное дитя улыбалось цветам и птичкам» и изменяло своему мужу.

Десять лет спустя прелестное дитя, оставаясь приблизительно в том же возрасте, увлекало читателей тонкой психологией своего двенадцатого адюльтера. Муж вообще не считался уже ни за что. Разбирался только вопрос, имеет ли второй любовник столько же прав на ревность, как и одиннадцатый.

Теперь уже не то. Теперь берите шире. В новом французском романе героине или не более двенадцати лет (как «Claudine», «La petite Cady»¹ и прочим их суррогатам), или не менее пятидесяти.

Какова амплитуда! Каков размах!

¹ «Клодина», «Малютка Кади» (фр.).

Хуже всех живется во французском романе молодой девушке. Единственная роль, которая ей отводится скучным на девические радости романистом, — это делать к столу букеты и падать в обморок. Вообще же она скоро умирает или уезжает навеки к тетке в провинцию.

Любить ее нельзя.

Она, конечно, равнодушна к материнскому Густаву или Адольфу, но для него-то она не представляет ровно никакого интереса.

Молодая особа, которой, может быть, нет даже двадцати пяти лет, с хорошеньким личиком и кое-каким приданым.

О нет! *Il en a soure!*¹

Он бежит от нее к ее очаровательной матери, которая ждет его у окна, и «ее стройная шестидесятилетняя фигура изящно вырисовывается на фоне темной драпировки».

— Мадлена!

— Я твоя, но мне нужны деньги. Я люблю запах золота.

Он понимает ее. Он сам всю жизнь готов нюхать золото.

И вот они на пышном рауте (это все по роману Маргерита).

Там присутствует еще одна красавица, уже несколько отяжелевшая (лет, вероятно, этак под девяносто). И красота Мадлены выделяется еще ярче. Два банкира, увидев все это, тут же разорились. Запах золота, густой и пряный, опьянял присутствующих.

¹ Надоело! (*фр.*)

Мадлена торжествовала.

Там, вдали, в провинции, у тетки, дочь ее лежала в обмороке. А она улыбалась улыбкой Артемиды, которая к шестидесяти пяти годам только прочнее утвердилась в девственности своих очертаний.

Fin.

А вот роман другого полюса.

Героине двенадцать лет.

Чувствуется досада автора, что ей не три года. Но никак нельзя. Эти трехлетние девочки обыкновенно так еще плохо говорят, что толком и не разберешь, что им нужно.

Итак, ей двенадцать лет.

На совести ее несколько коротких романов и мимолетных связей. Она презирает мать за неумение пудрить затылок так, чтобы не было заметно.

Она первая пустила в употребление голубую краску для нижних век.

Она «уже» стыдится пошлой интрижки с молодым лакеем и любезна с ним только из выгоды: любит распить потихоньку бутылочку-другую шампанского.

Гувернантку держит в страхе. Вместо уроков географии ходит в гости к знакомой кокотке, что тем не менее ничуть не вредит ее образованию.

Если же она поступает в школу, то времяпрепровождение ее среди сверстниц принимает такой уклон, что романы с ее жизнеописанием строжайше воспрещаются к ввозу в Россию, Австрию, Германию, Италию, Румынию, Испанию и Португалию.

Но ее редко отдают в школу. К чему? Да и некогда.

Утром (она встает около двух, так как утомлена ночным кутежом) позирование у модного художника, затем несколько свиданий, поездка с подругами в кафешантан. Смотришь, и день прошел.

Дома достаточно ей переступить без няньки за порог детской, чтобы тотчас же несколько министров, болтающихся всегда в коридоре, сделали ей бесчестные предложения.

Со свойственным ей тактом она ставит министров на место.

— Через пятьдесят лет я буду вашей.

— Zut!¹

И через пятьдесят лет, уже в другом романе, где крепкий запах золота ест глаза, все министерства падают. Так пожелала она, стоя в коротеньких панталончиках на пороге своей детской.

О герое нового французского романа я не говорю ничего, потому что роль его вряд ли может утешить неврастеника-читателя.

Герой французского романа так неопытен и невинен, что самая чистая лилия кажется по сравнению с ним бурой свиньей.

Он всегда обманут, всегда несчастлив и всегда уважает волю своих родителей, живущих сельскими продуктами, где-то «там», среди ландышей и бузины.

Не будем же говорить о герое. Ну его!

Итак, господа осенние неврастеники, читайте французские романы.

Читайте и оставьте вашу мебель в покое. Пусть стоит, как стояла в прошлом году. Нужно немножко переждать.

¹ Черт возьми! (*фр.*)

Вот стукнет вам шестьдесят лет, и все переменится само собою. Фигура ваша зазмеится в амбразуре окна; четыре Гастона, давя друг друга, бросятся к вашим ногам, и от терпкого запаха золота расчихается даже ваша старая, ко всему привычная кошка.

А министерства! С каким треском они рухнут, если только вы этого пожелаете. Вы, в своих коротеньких панталончиках!

Zut!

НЕДЕЛИКАТНОСТИ

Журфикс был в полном разгаре.

Молодой моряк — душа общества — декламировал, импровизировал, читал Бальмонта под собственную музыку:

Я в мир-р пришел, чтоб видеть солн-н-це!

Вдохновенно ворочал круглыми глазами и под конец прочел свое собственное стихотворение, до такой степени похожее на бальмонтовское, что барышни даже не разобрали, которое чье.

Потом играли в рулетку, потом ужинали.

За ужином толстый полковник рассказывал горбуновские сценки, путая и перевирая. Слушатели доверчиво смеялись.

— Пузырь... Он те полетит... Накачали воздуха, так и полетит...

Мой сосед, моряк, душа общества, вдруг загрустил...

— Все это было когда-то так! Теперь не то!

— О чем вы!

— Не то теперь! Теперь они не скажут «пузырь» или «водоглаз». Скорее мы с вами скажем. Сегодня утром, как раз после того, как я подобрал музыку «Полевой ромашке», пришел ко мне матрос по делу. Я, нужно вам признаться, специалист по беспроволочному... как это называется... гм... да, по беспроволочному телеграфу. У меня, понимаете, звучат в душе: «Я зовусь по-ле-вая ромашка!», а матрос так и жарит: «переменный ток когерер, самоиндукция...» Стою как дурак!

— Чего же вы так? — удивляюсь я. — Ведь вы специалист?

Душа общества криво усмехается.

— На днях еду в трамвае, — вполголоса, точно на исповеди, изливает он, — вдруг остановились, ни туда, ни назад. Я и говорю вагоновожатому: «Видно, братец, что-то в машине заело». А он чуть-чуть отвернулся и говорит: «Нет, это просто мотор замкнулся на себя». И чувствую, что, не будь ему так за меня стыдно, он бы тут же пустился объяснять, как мотор замыкается.

Толстый полковник рассказывал анекдот, как мужик хотел послать сапоги по телеграфу.

— Да, да! — приговаривал моряк. — Это мы с вами пошлем! А мужик не пошлет. Мужик вам скажет, какой аппарат Морзе, а какой не Морзе. Говорю недавно своим матросам: «Вот, братцы, теперь в беспроволочной телеграфии введена такая особенная, как ее... дуга, очень сильная, так что можно будет далеко телеграфировать». А матросик-монтер мне в ответ: «Это вы про дугу Паульсена? Действитель-

но, благодаря монохроматичности переменного поля допустима более точная синтонизация на основное колебание».

Верите ли, у меня было такое чувство, как будто он меня при всех колотит. И так, и этак, и перевернет... Да вдруг как крикну: «Мо-олчать!» Повернулся и ушел. Ужасно глупо! Ужасно!

Но что же мне оставалось, когда я ему: «этакая... как ее... дуга», а он переменного Паульсена или как там его... Прямо неделикатно.

— Вы это серьезно?

— Как вам сказать? Понимаю, что глупо, а ничего не могу поделать!

Он задумался и еще раз сказал про себя:

— Неделикатно!

После ужина опять сели играть в рулетку. Я быстро проигралась и отправилась домой.

В переднюю проводила меня дочь хозяйки дома, молоденькая барышня, прошлой весной окончившая институт.

Она загадочно улыбалась, лукаво щурила глаза и наконец шепнула:

— Вы не скажете маме? Дайте слово, что не скажете.

— Ну?

— Нет, вы дайте слово!

Ей так хотелось в чем-то признаться, что даже в горле у нее пицало.

— Ну, все равно, я вам верю. Знаете, мы вчера какую штуку выкинули? Вы прямо не поверите! Я, Лиля Корина, ее брат и Владимир Андреевич отправились потихоньку в кафешантан. Мама думает,

что я была у Лили, а Лилина мама думает, что Лиля была у меня. Всех надули!

— Ну что же, весело было?

— Ах! Вы себе представить не можете! Там танцевали «Ой-ра». Это так неприлично!

И снова у нее в горле само собою пискнуло от приятного волнения.

— Непременно поедем еще раз. А Владимир Андреич был совершенно пьян! Ужасно! Только, ради бога, маме не говорите. На будущей неделе опять поедем. Ах, как это все неприлично!

В передней молоденькая горничная надевала мне галоши.

— Что это вы, Глаша, такая сегодня завитая? — спросила я.

— Я вчера со двора ходила.

— Весело было?

— Да, очень интересно было, — отвечала горничная с достоинством. — Собралось человек пятнадцать. Играли в суд. Один молодой человек был прокурором, одна девушка — защитником. Судьи были, присяжные, — все как следует. Очень интересно.

Я вспомнила, как зимой предлагал кто-то устроить эту игру в одном из кабаре и как большинством голосов затея была отвергнута. Кричали, что скучно, что люди собираются отдохнуть и повеселиться, а не голову ломать над юридическими хитростями.

— От вас все разбегутся в карточные комнаты!

— А действительно тоска! — соглашалась и я с другими.

— Скажите, Глаша, — робко спросила я. — Вам не скучно было?

— Что вы, барыня! Не в карты же нам играть! Приятно развлечься чем-нибудь действительно интересным.

Мы переглянулись с бывшей институткой.

Глаша любила jeux d'esprit¹, а мы...

Мы сказали друг другу глазами:

— Как это неделикатно!

КОГДА РАК СВИСТНУЛ

Рождественский ужас

Елка догорела, гости разъехались.

Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирает мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный.

— Последний раз делаю елку, — говорил папа Жаботыкин. — Один расход, и удовольствия никакого.

— Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику, — вставила мама Жаботыкина.

— Да, черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.

— А я думал, что он мне живую лошадку подарит, — поднял голову Петя.

— Да, черта с два! Когда рак свистнет.

Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые; бараньи глаза уныло уставились в одну точку.

Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать.

¹ Интеллектуальные игры (*фр.*).

- Папа, отчего рак?
- Гм?
- Когда рак свистнет, тогда, значит, все будет?
- Гм!..
- А когда он свистит?

Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал:

- Пошел спать, поросенок!

Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте — под ложечкой, — словом, всюду мерзость запустения. Поэтому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул.

Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиной. Она сказала:

- Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу наростит, так и свистнет.

Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли.

Стал Петя расти, стал больше задумываться.

- Почему-нибудь да говорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь.

Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят: «когда слон полетит» или «когда корова зачирикает». Нет! Здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, по-

тому что у него и легких-то нету. Пусть так! Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими?

Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности.

Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что та дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее.

Умирая, сказал сыну:

— Сын мой! Слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком, заставь его, мерзавца, изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец? Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, мы — Жаботькины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего!

Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестили Жаботькина в мистера Джеба, и, таким об-

разом, эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников.

Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал:

— Папа, отчего рак?

По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились.

Но вот стало появляться в газетах странное воззвание:

«Люди! Готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу! Акционерное общество „Мистер Джеб энд компани“ объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак и исполнится самое горячее желание каждого из ста человек (1%). Готовьтесь!»

Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. «Вот, — думали, — верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прокламировать новую ваксу. Знаем мы их!»

Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое.

А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок с его лаборатории во всех разрезах, никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо.

Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на стано-

вого пристава из Юго-Западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было.

Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенное в самые фантастические цвета, — зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блестках и т. д. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке.

Осенью компания «Мистер Джеб энд компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые «зайцы» стали говорить о них почтительным шепотом.

Время шло, бежало, летело. В начале октября сорок две граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист.

25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пройдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то и так далее.

С восьми часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно заседали на публи-

ку лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала.

Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел.

Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кричали и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет, и дураков валять довольно глупо.

Ровно в два часа дня раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули тысячи радостных вздохов.

Но тут произошло что-то странное, неподвижное, необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не захотел увидеть звена сковывавшей всех цепи: какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно; он весь разбух, слился в продолговатый шар; вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны.

Толпа шарахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать.

— Что такое? Что же это?

Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой:

— Вяжи, ребята! Мой грех! Я ему пожелал: «Чтоб те лопнуть!»

Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде; она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю.

— Провалилась, подлая! — напутственно про-
шамкали чьи-то губы.

Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика:

— Бейте меня, православные! Моя волюшка в этих бабахдохнет!

Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собою чужих желаний.

Люди гибли как мухи. В целом свете только одна какая-то девчонка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста: у нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела непрерывным чиханьем. Все остальные добрые желания (если только они были) оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение.

Человечество быстрыми шагами шло к гибели. И погубило бы окончательно, если бы не жадность «Мистера Джеба энд компани», которые, желая еще более вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями.

Рак сдох.

На могильном памятнике его (работы знаменитого скульптора по премированной модели) напечатана надпись:

«Здесь покоится свистнувший экземпляр рака — собственность „Мистера Джеба энд компани“, утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания.

Не просыпайся!»

РЕПЕТИТОР

Когда у Коли Факелова отлетела подметка и на втором сапоге, он заложил теткинину солонку и составил объявление:

«Гимназист 8-го класса готовит по всем предметам теоретически и практически, расстоянием не стесняется. Знаменская, 5. Н. Ф.».

Отнес в газету и попросил конторщика получше сократить, чтобы дешевле вышло.

Тот и напечатал:

«Гимн. 8 кл. г. по вс. пр. тр. пр., р. не ст. Знамен. 5, Н. Ф., др.».

Последнее «др.» въехало как-то само собой, и ни Коля, ни сам конторщик не могли понять, откуда оно взялось. Но пошло оно, очевидно, на пользу, потому что на второй же день после предложения поступил и спрос.

Пришла на буквы Н. Ф. открытка следующего содержания:

«Господин учитель гимназист пожалуйста завтра для переговору Бармалеева улица номеру дома 12.

Госпожа Ветчинкина»

Коля решил держать себя просто, но с достоинством, выпятил грудь, прищурил правый глаз и засунул руки в карманы. Поглядел в зеркало: поза действительно указывала на простоту и достоинство.

В таком виде он и предстал перед госпожой Ветчинкиной.

А та говорила:

— Пожалуйста, господин учитель-гимназист, уж возьмите вы на себя Божеску милость Ваську-оболтуса обравнять. На третий год в классе остался.

Ходила намеренно к дилектору, так тот велели, чтоб по латыни его прижучить, да еще, говорит, шкурьте его как следует по географии. Вы ведь по латыни можете?

— Могу-с! — отвечал Коля Факелов с достоинством. — Могу-с и теоретически, и практически.

— Ну вот и ладно. Только, пожалуйста, чтобы и география, тоже и теоретически, и практически, и все предметы. У вас вон в объявлении сказано, что вы все можете.

Она достала вырезку из газеты и корявым мизинцем, больше похожим на соленый огурец, чем на обыкновенный человеческий палец, указала на загадочные слова: «пр. тр. пр. др.».

— Так вот, пожалуйста, чтоб это все было. Жалованье у нас хорошее — пять рублей в месяц; на улице не найдете. А супруга нашего теперь нету — поехал гусями заниматься.

Коля выпятил грудь, прищурил глаз и с достоинством согласился.

На следующий день начались занятия. Кроме Васьки-оболтуса, за учебным столом оказалась еще какая-то девочка постарше, потом мальчик поменьше и еще что-то совсем маленькое, стриженое, не то мальчик, не то девочка.

— Это ничего, — успокаивала Колю госпожа Ветчинкина. — Они вам мешать не будут, они только послушают. Петьке, лентяю, покажите буквы, с него пока и полно. А Манечка вам уж потом, после урока ответит, что им в школе задано.

— Ну-с, молодой человек, — спросил Коля Ваську-оболтуса, — по какому предмету вы себя чувствуете слабее?

— По французскому кол, — сказал оболтус басом. — Глаголов не понимаю.

— Гм... да что вы?! Ведь это так просто.

— Не понимаю импарфе и плюскепарфе.

— Да что вы?! Да я вам это сейчас в двух словах... Гм... Например, «я пришел», это будет импарфе. Понимаете? «Я пришел». А если я совсем пришел, так уж это будет плюскепарфе. Понимаете? Ведь это же так просто! Ну, повторите.

— Импарфе, это когда вы не совсем пришли, — унылым басом загудел оболтус. — А если вы окончательно пришли, тогда это уж будет... Это уж будет...

— Ну да, раз я уже совсем пришел, значит, — ну? Что же это значит?

— Если вы не совсем еще пришли, то импарфе, а если уже, значит окончательно, со всеми вещами, то плюскепарфе.

— Ну вот видите. Разве трудно?

— А как по-немецки картофель? — спросила вдруг девочка.

У Коли Факелова засосало под ложечкой. Вот оно, «пр.», когда началось!

— Картофель? Вас интересует, как по-немецки картофель? Как это странно! А впрочем, это очень просто...

Сидевшая у окна за работой госпожа Ветчинкина насторожилась.

Откладывать картофель в долгий ящик было нельзя.

— Очень просто. Дер фруктус.

— Дер фруктус? — повторила девочка недоверчиво. — А как же прежний репетитор по-другому говорил?

— Сонька, молчи! — прикрикнула мать. — Раз господин учитель говорит — значит так и есть.

В пять часов госпожа Ветчинкина увела детей обедать, а к Коле Факелову подвинула стриженое существо и сказала:

— А уж вы пока, господин гимназист-учитель, с Нюшкой посидите. Она у меня все равно особенное ест, так ее и потом покормить можно. Вот игрушками займитесь либо картинки покажите.

Нюшка сунула ему книгу с картинками и спросила:

— А это что?

Раскрыла.

— А это что?

На картинке изображены были плавающие утки, к которым из-за кустов подкрадывалась лисица.

— А это что? — приставала Нюшка.

— А это уточка купается, а лисичка подсматривает, — чистосердечно пояснил Коля Факелов.

— А это что?

— А это собака. Ведь сама видишь, что же пристаешь?

— А это что?

— А то, что ты — дура, и убирайся к черту.

Нюшка заревела громко, с визгом. Прибежала мать, не расспрашивая, надавала ей шлепков и тут же извинилась перед Колей:

— Сама знаю, что их пороть надо, да некому у нас. Супруг-то ведь гусями занимается, недосуг ему.

На другой день, после урока, госпожа Ветчинкина попросила Колю сходить с девочками на рынок купить им сапоги.

— Мне-то, видите, некогда, а сам-то гусями занимается, вот на вас вся и надежда.

Коля пошел, но очень конфузился на улице и делал вид, что идет сам по себе.

На следующий день заболела кухарка, а так как хозяин был занят гусями, то Коле пришлось сбегать за крупой и за булками.

Через неделю он нашел в классной комнате еще двух мальчиков, испуганно шаркнувших ему ногами.

— Э, с этими стесняться нечего! — успокоила его госпожа Ветчинкина. — Это мужней сестры дети. Свои, стало быть. Покажите им какие-нибудь буквы — с них и полно будет.

Коля приуныл.

— Что ж, госпожа Ветчинкина, я с удовольствием, — говорил он дрожащим голосом, а когда она ушла, сказал ей вслед тихо, но с большим чувством, — Чтоб ты лопнула!

И опять объяснял, как он не совсем пришел с импарфе и как окончательно засел с плюскепарфе, и все думал: «Дотянуть бы только до конца месяца, а там получу пять рублей, и черт мне не брат».

Но черт оказался брат, потому что к концу месяца госпожа Ветчинкина сказала ему, что без мужа платить не может, а вот муж скоро приедет и все заплатит.

Коля смирился, стал совсем тихий и даже забыл, как надо щурить глаз, чтобы показать свое достоинство.

К концу второго месяца приехал хозяин. Вошел во время обеда, когда Коля Факелов, в качестве репетитора, кормил Нюшку особливвым супом. Усталый хозяин на Колю и заорал:

— Эт-то кто, а?

Госпожа Ветчинкина заплакала:

— Ей-богу, Иван Трофимович! Верь совести!

Порылась в кармане, вытащила огрызок сахара, кошелек и Колино объявление:

— Вот они кто. Господин учитель, гимназист.

— Давай сюда! Мол-чать! — крикнул хозяин.

Схватил бумажку:

— ...Г. пр. тр. пр. р. ст. др. ... Вот как? Ладно. Потрудитесь, господин, отсюда удалиться. Здесь честный дом, а что вы эту дуру обошли, за это с вас судом взыщется.

— Что же это? — затрепетал Коля. — Ведь вы же мне должны...

— Должны-ы? Так мы еще и должны? В семью втерся, детей супом кормит, а мы же еще ему и плати. Какой тр. пр. нашелся. Вон, чтобы твоего духу тут не было, не то сейчас дворника крикну. Др. тр.! Развратники!

Коля опомнился только на улице, и то не на Бармалеевской, а на какой-то совсем незнакомой. Остановился и закричал:

— Вы — невежа, вот вы кто! Прямо вам в глаза говорю, что вы невежа! Да-с!

Он прищурил глаз, выпятил грудь, подбоченился и зашагал с достоинством вперед.

— Да-с! Я еще с вами посчитаюсь! — подбодрил он себя.

Но душа его не могла подбочениться. Она тихо и горько плакала и понимала, что считаться ни с кем не придется, что его обидели и выгнали и что ушел он окончательно, совсем ушел — плюскепарфе!

ПУБЛИКА

Швейцар частных коммерческих курсов должен был вечером отлучиться, чтобы узнать, не помер ли его дяденька, а поэтому бразды правления передал своему помощнику и, передавая, наказывал строго:

— Вечером тут два зала отданы под частные лекции. Прошу относиться к делу внимательно, посетителей опрашивать, кто куда. Сиди на своем месте, снимай польты. Если на лекцию Киньгрустина, — пожалуйста направо, а если на лекцию Фермопилова, — пожалуйста налево. Кажется, дело простое.

Он говорил так умно и спокойно, что на минуту даже сам себя принял за директора.

— Вы меня слышите, Вавила?

Вавиле все это было обидно, и по уходе швейцара он долго изливал душу перед длинной пустой вешалкой.

— Вот, братец ты мой, — говорил он вешалке, — вот, братец ты мой, иди и протестуй. Он, конечно, швейцар, конечно, не нашего поля ягода. У него, конечно, и дяденька помер, и то и се. А для нас с тобой нету ни празднику, ни буднику, ничего для нас нету. И не протестуй. Конечно, с другой стороны, ежели начнешь рассуждать, так ведь и у меня может дяденька помереть, опять-таки, и у третьего, у Григория, дворника, скажем, может тоже дяденька помереть. Да еще там у кого, у пятого, у десятого, у извозчика там у какого-нибудь... Отчего ж? У извозчика, братец ты мой, тоже дяденька может помереть. Что ж извозчик, по-твоему, не человек, что ли? Так тоже нехорошо, — нужно справедливо рассуждать.

Он посмотрел на вешалку с презрением и укором, а она стояла, сконфуженно раскинув ручки, длинная и глупая.

— Теперь у меня, у другого, у третьего, у всего мира дядья помрут, так это, значит, что же? Вся Европа остановится, а мы будем по похоронам гулять? Нет, брат, так тоже не показано.

Он немножко помолчал и потом вдруг решительно вскочил с места.

— И зачем я должен у дверей сидеть? Чтоб мне от двери вторичный флюс на зуб надуло? Сиди сам, а я на ту сторону сяду.

Он передвинул стул к противоположной стене и успокоился.

Через десять минут стала собираться публика.

Первыми пришли веселые студенты с барышнями:

— Где у вас тут лекция юмориста Киньгрустина?

— На лекцию Киньгрустина пожалуйста направо, — отвечал помощник швейцара тоном настоящего швейцара, так что получился директор во втором преломлении.

За веселыми студентами пришли мрачные студенты и курсистки с тетрадками.

— Лекция Фермопилова здесь?

— На лекцию Фермопилова пожалуйста налево, — отвечал дважды преломленный директор.

Вечер был удачный: обе аудитории оказались битком набитыми.

Пришедшие на юмористическую лекцию хохотали заранее, остряли, вспоминали смешные рассказы Киньгрустина.

— Ох, уморит он нас сегодня! Чувствую, что уморит.

— И что это он такое затеял: лекцию читать! Верно, пародия на ученую чепуху. Вот распотешит. Молодчина этот Киньгрустин!

Аудитория Фермопилова вела себя сосредоточенно, чинила карандаши, переговаривалась вполголоса:

— Вы не знаете, товарищ, он, кажется, будет читать о строении Земли?

— Ну конечно. Идете на лекцию и сами не знаете, что будете слушать. Удивляюсь!

— Он лектор хороший?

— Не знаю, он здесь в первый раз. Москва, говорят, обожает.

Лекторы вышли из своей комнатухи, где пили чай для освежения голоса, и направились каждый в нанятый им зал. Киньгрустин, плотный господин, в красном жилете, быстро взбежал на кафедру и, не давая публике опомниться, крикнул:

— Ну вот и я!

— Какой он молодежавый, этот Фермопилов, — зашептали курсистки. — А говорили, что старик.

— Знаете ли вы, господа, что такое теща? Нет, вы не знаете, господа, что такое теща!

— Что? Как он сказал? — зашептали курсистки. — Товарищ, вы не слышали?

— Н... не разобрал. Кажется, про какую-то тощу.

— Тощу?

— Ну да, тощу. Не понимаю, что вас удивляет! Ведь раз существует понятие о земной толще, то должно существовать понятие и о земной тоще.

— Так вот, господа, сегодняшнюю мою лекцию я хочу всецело посвятить серьезнейшему разбору тещи как таковой, происхождению ее, историческому развитию и прослежу ее вместе с вами во всех ее эволюциях.

— Какая ясная мысль! — зашептала публика.

— Какая точность выражения.

Между тем в другом зале стоял дым коромыслом.

Когда на кафедру влез маленький, седенький старичок Фермопилов, публика встретила его громом аплодисментов и криками «ура».

— Молодчина Киньгрустин. Валяй!

— Слушайте, чего же это он так постарел с прошлого года?

— Га-га-га! Да это он нарочно масленичным дедом вырядился! Ловко загримировался, молодчина!

— Милостивые государыни, — шамкал старичок Фермопилов, — и милостивые государи!

— Шамкает! Шамкает! — прокатилось по всему залу. — Ох, уморил.

Старичок сконфузился, замолчал, начал что-то говорить, сбился и, чтобы успокоиться, вытащил из заднего кармана сюртука носовой платок и громко высморкался.

Аудитория пришла в неистовый восторг.

— Видели? Видели, как он высморкался? Ха-ха-ха! Bravo! Молодчина! Я вам говорил, что он уморит.

— Я хотел побеседовать с вами, — задрбезжал лектор, — о вопросе, который не может не интересоваться каждого живущего на планете, называемой Землею, а именно — о строении этой самой Земли.

— Ха-ха-ха! — покатывались слушатели. — Каждый, мол, интересуется. Ох-ха-ха-ха! Именно, каждый интересуется.

— Метко, подлец, подцепил!

— Нос-то какой себе соорудил — грушей!

— Ха-ха! Груша с малиновым наливом!

— Я попросил бы господ присутствующих быть потише, — запищал старичок. — Мне так трудно!

— Трудно! Ох, уморил! Давайте ему помогать!

— Итак, милостивые государыни и милостивые государи, — надрывался старичок, — наша сегодняшняя беседа...

— Ловко пародирует, шельма! Bravo!

— Стойте! Изобразите лучше Пуришкевича!

— Да, да! Пусть как будто Пуришкевич.

А в противоположном зале юморист Киньгрустин лез из кожи вон, желая вызвать улыбку хоть на одном из этих сосредоточенных благоговейных лиц. Он с завистью прислушивался к доносившемуся смеху и радостному гулу слушателей Фермопилова и думал:

«Ишь, мерзавец, старикашка! На вид ходячая панихида, а как развернулся. Да что он там, канканирует, что ли?»

Он откашлялся, сделал комическую гримасу ученого педанта и продолжал свою лекцию:

— Чтобы вы не подумали, милостивые государыни и в особенности милостивые государи, что теща есть вид ископаемого или просто некая земная окаменелость, каковой предрассудок существовал многие века, я беру на себя смелость открыть вам, что теща есть не что иное, как, по выражению древних ученых, — недоразумение в квадрате.

Он приостановился.

Курсистки старательно записывали что-то в тетрадку. Многие, нахмурив брови и впившись взором в лицо лектора, казалось, ловили каждое слово, и напряженная работа мысли придавала их физиономиям вдохновенный и гордый вид.

Как на всех серьезных лекциях, из укромного уголка около двери неслось тихое похрапывание с присвистом.

Киньгрустин совсем растерялся.

Он чувствовал, как перлы его остроумия ударяются об эти мрачные головы и отскакивают, как град от подоконника.

«Вот черти! — думал он в полном отчаянии. — Тут нужно сотню городских позвать, дворников триста человек, чтобы их, подлецов, щекотали. Извольте ли видеть. Я для них плох! Марка Твена им подавай за шестьдесят копеек! Свиньи!»

Он совсем спутался, схватился за голову, извинился и убежал.

В передней стояли треск и грохот. Маленький старичок Фермопилов метался около вешалки и требовал свое пальто. Грохочущая публика хотела непременно его качать и орала:

— Bravo, Киньгрустин! Bravo!

Киньгрустин, несмотря на свою растерянность, спросил у одного из галдевших:

— Почему вы кричите про Киньгрустина?

— Да вот он, Киньгрустин, вон тот, загримированный старичком. Он нас прямо до обморока...

— Как он? — весь похолодел юморист. — Это я — Киньгрустин. Это я... До обморока... Здесь ужасное недоразумение.

Когда недоразумение выяснилось, негодованию публики не было предела. Она кричала, что это наглость и мошенничество, что надо было ее предупредить, где юмористическая лекция, а где серьезная. Кричала, что это безобразие следует обличить в газетах, и в конце концов потребовала деньги обратно.

Денег ей не вернули, но натворившего беду помощника швейцара выгнали.

И поделом. Разве можно так поступать с публикой?

БАБЬЯ КНИГА

Аркадию Руманову

Молодой эстет, стилист, модернист и критик Герман Енский сидел в своем кабинете, просматривал бабью книгу и злился. Бабья книга была толстенький роман, с любовью, кровью, очами и ночами.

«— Я люблю тебя! — страстно шептал художник, обхватывая гибкий стан Лидии...»

«Нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!»

«Вся моя жизнь была предчувствием этой встречи...»

«Вы смеетесь надо мной?»

«Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение».

— О-о, пошлая! — стонал Герман Енский. — Это художник будет так говорить! «Могучая сила толкает», и «нельзя бороться», и всякая прочая гниль. Да ведь это приказчик постеснялся бы сказать, —

приказчик из галантерейного магазина, с которым эта дурища, наверное, завела интрижку, чтобы было что описывать.

«Мне кажется, что я никого никогда еще не любил...»

«Это как сон...»

«Безумно!.. Хочу прильнуть!..»

— Тьфу! Больше не могу! — и он отшвырнул книгу. — Вот мы работаем, совершенствуем стиль, форму, ищем новый смысл и новые настроения, бросаем все это в толпу: смотри — целое небо звезд над тобою, бери какую хочешь! Нет! Ничего не видят, ничего не хотят. Но не клевети, по крайней мере! Не уверяй, что художник высказывает твои коровьи мысли!

Он так расстроился, что уже не мог оставаться дома. Оделся и пошел в гости.

Еще по дороге почувствовал он приятное возбуждение, неосознанное предчувствие чего-то яркого и захватывающего. А когда вошел в светлую столовую и окинул глазами собравшееся за чаем общество, он уже понял, чего хотел и чего ждал. Викулина была здесь, и одна, без мужа.

Под громкие возгласы общего разговора Енский шептал Викулиной:

— Знаете, как странно, у меня было предчувствие, что я встречу вас.

— Да? И давно?

— Давно. Час тому назад. А может быть, и всю жизнь.

Это Викулиной понравилось. Она покраснела и сказала томно:

— Я боюсь, что вы просто донжуан.

Енский посмотрел на ее смущенные глаза, на ее ждущее, взволнованное лицо и ответил искренно и вдумчиво:

— Знаете, мне сейчас кажется, что я никого никогда еще не любил.

Она полузакрыла глаза, пригнулась к нему немножко и подождала, что он скажет еще.

И он сказал:

— Я люблю тебя!

Тут кто-то окликнул его, подцепил какой-то фразой, потянул в общий разговор. И Викулина отвернулась и тоже заговорила, спрашивала, смеялась. Оба стали такими же, как все здесь за столом, веселые, простые, — все как на ладони.

Герман Енский говорил умно, красиво и оживленно, но внутренне весь затих и думал:

«Что же это было? Что же это было? Отчего звезды поют в душе моей?»

И, обернувшись к Викулиной, вдруг увидел, что она снова пригнулась и ждет. Тогда он захотел сказать ей что-нибудь яркое и глубокое, прислушался к ее ожиданию, прислушался к своей душе и шепнул вдохновенно и страстно:

— Это как сон...

Она снова полузакрыла глаза и чуть-чуть улыбалась, вся теплая и счастливая, но он вдруг встревожился. Что-то странно знакомое и неприятное, нечто позорное зазвучало для него в сказанных им словах.

— Что это такое? В чем дело? — замучился он. — Или, может быть, я прежде, давно когда-нибудь уже говорил эту фразу, и говорил не любя, неискренно, и вот теперь мне стыдно. Ничего не понимаю.

Он снова посмотрел на Викулину, но она вдруг отодвинулась и шепнула торопливо:

— Осторожно! Мы, кажется, обращаем на себя внимание...

Он отодвинулся тоже и, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, тихо сказал:

— Простите! Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение.

И опять какая-то мутная досада наползла на его настроение, и опять он не понял, откуда она, зачем.

«Я люблю, я люблю и говорю о любви своей так искренно и просто, что это не может быть ни пошло, ни некрасиво. Отчего же я так мучаюсь?»

И он сказал Викулиной:

— Я не знаю, может быть, вы смеетесь надо мной... Но я не хочу ничего говорить. Я не могу. Я хочу прильнуть...

Спазма перехватила ему горло, и он замолчал.

Он провожал ее домой, и все было решено. Завтра она придет к нему. У них будет красивое счастье, неслыханное и невиданное.

— Это как сон!..

Ей только немножко жалко мужа.

Но Герман Енский прижал ее к себе и убедил.

— Что же нам делать, дорогая, — сказал он, — если нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!

— Безумно! — шепнула она.

— Безумно! — повторил он.

Он вернулся домой как в бреду. Ходил по комнатам, улыбался, и звезды пели в его душе.

— Завтра! — шептал он. — Завтра! О, что будет завтра!

И потому, что все влюбленные суеверны, он машинально взял со стола первую попавшуюся книгу, раскрыл ее, ткнул пальцем и прочел:

«Она первая очнулась и тихо спросила:

— Ты не презираешь меня, Евгений?»

— Как странно! — усмехнулся Енский. — Ответ такой ясный, точно я вслух спросил у судьбы. Что это за вещь?

А вещь была совсем немудреная. Просто-напросто последняя глава из бабьей книги.

Он весь сразу погас, съезжился и на цыпочках отошел от стола.

И звезды в душе его в эту ночь ничего не спели.

ПАСХАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ХОЗЯЙКАМ

Прежде всего мы должны помнить, что из пасхальных приготовлений важнее всего сама пасха, так как праздник получил свое название именно от нее, а не от кулича и не от ветчины, как предполагают многие невежды.

Поэтому на Пасху мы должны покупать пять фунтов творогу у чухонки и хорошенько сдобрить его сахаром.

Если пасха готовится только для своего семейства, то этим можно и ограничиться. Если же предполагается разговение с гостями, то нужно еще наболтать в творог яиц и сметаны. Гость также требует и ванили, чего тоже забывать не следует.

Чтоб показать гостю, что пасха хорошо удобрена, в нее втыкают цветок. Гость, если он человек неиспорченный и доверчивый, должен думать, что цветок сам вырос, — и умилиться.

С боков пасхи хорошо насовать изюму, как будто и внутри тоже изюм. Иной гость пасхи даже и не попробует, а только поглядит, а впечатление получит сильное.

Если же кухарка второпях налепит вам в пасху вместо изюма тараканов, то сами вы их не ешьте (гадость, да и вредно), а перед гостем не смущайтесь, потому что если он человек воспитанный, то и виду не должен показать, что признал в изюмине таракана. Если же он невоспитанный нахал, то велика, подумаешь, для вас корысть водить с ним знакомство. Таких людей обегать следует и гнущаться.

Оборудовав пасху, следует заняться куличом.

Тут я должна сделать маленькое разоблачение. Пусть недовольные бранят меня, как хотят, а по моему, разоблачение это сделать давно пора. Слишком пора.

Итак, судите меня, как хотите, но кулич не что иное, как самая обыкновенная сдобная булка, в которую натыкали кардамону, а сверху воткнули бумажную розу.

Кто может возразить мне?

Больше о куличе я ничего говорить не хочу, потому что это меня раздражает.

Займемся лучше ветчиной.

Какой бы скверный окорок у вас ни был, хоть собачья нога, но раз вы намерены им разговляться, а в особенности разговлять своих гостей, вы обяза-

ны украсить его стриженной бумагой. Какую взять бумагу и как ее настричь, это уж вам должна подсказать ваша совесть.

Нарезать окорок должны под вашим личным наблюдением, ибо у всех кухарок для числа нарезываемых кусков существует одна формула: $N = \text{числу потребителей минус } 1$.

Таким образом, один гость всегда останется без ветчины, и все знакомые на другой же день услышат мрачную легенду о вашей жадности.

Теперь перейдем к невиннейшему и трогательнейшему украшению пасхального стола — к барашку из масла.

Это изящное произведение искусства делается очень просто: вы велите кухарке накрутить между ладонями продолговатый катыш из масла. Это туловище барашка. Сверху нужно прилепнуть маленький круглый катыш с двумя изюминами — это голова. Затем пусть кухарка поскребет всю эту штуку ногтями вокруг, чтобы баран вышел кудрявый. К голове прикрепите веточку петрушки или укропу, будто баран утоляет свой аппетит, а если вас затошнит, то уйдите прочь из кухни, чтоб кухарка не видела вашего малодушия.

Гости очень любят такого барашка. Умиляются над ним, некоторые отчаянные головы даже едят его, а под конец разговенья часто тпрукают ему губами, чтобы польстить хозяевам, и говорят заплетающимся языком: «Какой искусный у вас этот баранчик! Доведись такого встретить на улице, подумал бы, что живой. Ей-богу! Поклонился бы...»

Кроме всего вышеуказанного, на пасхальный стол ставят еще либо индюшку, либо курицу, в зависимо-

сти от ваших отношений с соседним зеленщиком. Какая бы птица ни была, вы обязуетесь на обе ее лапы, если только у вас есть эстетические запросы, надеть панталоны из стриженной бумаги. Это сразу поднимет птицу в глазах ваших гостей.

Класть птицу на блюдо нужно филеем кверху, чтобы гость, окинув ее даже самым беглым взглядом, сразу понял, с кем имеет дело.

Под одно крыло нужно ей подsunуть ее собственную печенку, под другое почку. Курица, снаряженная таким образом, имеет вид, будто собралась в дальнее путешествие и захватила под руку все необходимое. Забыла только голову.

Затем нужно декорировать стол бутылками.

Прежде всего поставьте два графина с водой. Потом бутылку с уксусом и сифон. Все это занимает много места и все-таки бутылки, а не какой-либо иной предмет, которому на столе быть не надлежит.

Затем поставьте «тип мадеры», который сохраняет все типические черты этого вина, кроме цены, и потому предпочтительнее заграничного. Поставьте еще «тип хереса», «тип портвейна», «тип токайского», и у вас на столе будет нечто вроде альбома типов, что должно же импонировать гостям.

Когда наливаете вино, каждый раз приговаривайте: «Вот могу рекомендовать!»

Чем вы рискуете?

Когда гости, по вашему мнению, достаточно разговелись и вам захочется спать, не следует говорить избитой фразы:

— А не пора ли, господа, и по домам!

Это, в сущности, довольно невежливо. Следует поступать томно и по-аристократически. Прикройте рот рукой и скажите:

— У-аух!

Будто зеваете. А потом посмотрите на часы и будто про себя:

— Ого! Однако!

Тут они, наверное, поймут и встанут. А если не поймут, то можно повторить этот прием несколько раз все громче и внушительнее.

Если какой-нибудь гость до того доразговляется, что уж ему ничего не втолкуешь, то нужно деликатно потрясти его за плечо и вдумчиво сказать:

— П'шел вон!

Это действует.

Потом соберите лучшие украшения вашего пасхального стола, как то: бумажные цветы, миндаль с кулича, изюм с пасхи и укроп с барана — и бережно спрячьте эти продукты до будущего года.

Ибо бережливость есть родственница благосостоятельности.

ТРАГЕДИЯ СЧАСТЬЯ

Осенний рассказ

I

Сатирик и поэт Валерий Кандалин сидел, уткнувшись носом в угол, и подбирал девятнадцатую рифму своего нового стихотворения.

Утро было урожайное: дождь, барабанивший в окошко, темная, пыльная комнатуха, сдававшая-

ся посуточно «с небелью», запах горелого лука из кухни — все это злило, раздражало и возмущало тонкую душу поэта. И он, горько усмехаясь, бичевал в рифмах весь наш жалкий мир, с его губернаторами, луною, чрезвычайными охранами, мелким сахаром, домовладельцами и «матчишем».

Чем гуще несло горелым луком, тем острее оттачивалось жало поэта Кандалина, а когда он вдруг вспомнил, что вот-вот прибежит домой жена, разыскивающая на зиму квартиру, и, пока она будет греться и отдыхать, ему придется самому бегать со списком адресов по мокрым улицам, — сатирический талант его вспыхнул так ярко, что девятнадцатая рифма выскочила как пуля, да еще не одна, а со своим близнецом.

Урожайное было утро.

Но вот ровно в полдень, в самый разгар работы, распахнулась дверь и влетела жена.

Не вошла, как вчера, и третьего дня, и в пятницу, и в четверг, усталая, надутая, неприятная, вдохновляющая на прекрасную рифмованную ненависть ко всему миру. Нет, она влетела как-то боком, вся красная, растрепанная, запыхавшаяся. Она махала руками и кричала громко и радостно, но что именно — Кандалин никак не мог понять. Уловил только несколько раз повторенное выражение:

— Нужно быть идиотом! Нужно быть идиотом!

— Зачем ты мне советуешь быть идиотом? — печально удивился поэт. — Ведь это же было бы глупо.

— Нужно быть идиотом! — кричала жена. — Нужно быть круглым идиотом, чтобы не взять та-

кую дивную квартирку. Пятьдесят рублей с дровами! Парадный ход прямо на солнце!

Кандалин был поэт, а поэтому перспектива иметь ход прямо на солнце сразу зажгла его.

— Что ты говоришь? Где это?

— Где? Есть тут время толковать — где! Беги скорее, тащи задаток, а то перехватят из-под носа! Нужно быть идиотом!..

И она выбежала из комнаты так быстро, что поэт успел догнать ее только на улице.

II

В печке уютно потрескивали дрова.

Поэт-сатирик Валерий Кандалин сидел в кресле, вытянув к огню ноги, и благодумствовал.

Лицо у него стало спокойное, круглое, трагическая складка между бровями и ироническая морщина около губ исчезли так основательно, что нельзя было даже припомнить, которая где находилась.

Первый раз в жизни устроился Кандалин с таким комфортом. Первый раз в жизни была у него отдельная комната далеко от детской, и никто не шумел и не мешал ему. Как хорошо можно здесь думать и работать!

Он теперь не несчастный, затурканный, озлобленный писака, приютившийся со своей тетрадкой между швейной машинкой жены и манной кашей ревущего младенца. Он сидит, как настоящий европейский поэт!

И он с гордостью и умилением оглядывался кругом.

— Ну разве я не счастлив!

Вот на столе разложена стопками бумага, большая чернильница полна чернил, на блюдечке лежат чистые перья.

И темы есть очень хорошие: «Юго-Северный вестник» просит облить ядом двух земских начальников.

А «Голос Солнца» слезно молит уничтожить пером директрису Солянского института для благородных девиц.

Кроме заказных тем, шевелились в голове еще свои собственные, очередные, осенние. Например, так: пошлый господин едет на пошлом извозчике в театр смотреть разные пошлости. А страдающая лошадь везет всю эту команду... гм... везет и думает. Что бишь она думает?..

Огонек в печке потрескивает, приятно согревая кандалинские подошвы, и Кандалин положительно не знает, о чем лошадь думает.

— Черт ее знает, о чем она думает! — лениво шепчет он. — И о чем ей думать? Сыта, одета, обу-та... Ну да, конечно, тяжело возить... А ничего не поделаешь, матушка: все люди работают...

Глаза слипаются. Выскочил уголек из печки, щелкнул по медной бляшке, разбудил поэта.

— О чем это я думал? Да, лошадь. Глупая тема. Лучше уж обдумывать заказные. Во всяком случае, практичнее.

Дверь приотворилась, выглянуло лицо жены. Брови ее приподнялись тревожно.

— Опять благодушествуешь? Очень мило! А между прочим, старший дворник два раза за деньгами приходил.

Но поэт только блаженно улыбался:

— За деньгами? Ты шутишь! Ну, попроси его подождать. Он, наверное, сердечный малый. У него, кажется, такое открытое лицо; впрочем, я не видел.

— Что с тобой сделалось — понять не могу! Ведь ты когда последний раз писал? Когда мы на квартиру переезжали. Я по теткам поехала детей собирать, а ты должен был вещи перевезти.

— Да, да. Я еще картонку потерял.

— Вот то-то и есть. Тогда из-за картонки и написал. А с тех пор ни строчки. Ведь нас с квартиры выгонят!

— Уж сейчас и выгонят! Какая ты, право, хе-хе-хе!

Через неделю, когда поэт Валерий Кандалин, весело и фальшиво мурлыкая вальс из «Фауста», рассматривал свою физиономию в карманное зеркальце, в комнату вошла жена, мрачная, с заплаканными глазами.

— Дождались! Гонят с квартиры.

— Мм? — равнодушно переспросил поэт, разглядывая свою верхнюю губу.

— С квартиры гонят, вот что. Ну как нам теперь быть, прямо голову теряю! Ну напиши хоть одно стихотворение!

— Мм? — снова переспросил поэт и затем прибавил деловито:

— А ведь я говорил, что мне усы не идут. Нет, спорит!

— Совсем одурел! Совсем одурел! — простонала жена.

Поэту стало совестно.

— Ты говоришь насчет стихов? Я, видишь ли, отнес вчера два стихотворения, да редактор не принял. Мы, — говорит, — просили сатиры, а вы притащили какие-то гимны весне. Это, — говорит, — не ваша специальность, а потому слабо. Ну чем же я виноват, когда у них в голове только земские начальники, а у меня в душе весна цветет. Знаешь, даже в тебе сквозит что-то весеннее! Какая-то такая дымка, только внутри, а не снаружи.

Жена всхлипнула.

— Первый раз в жизни уютно устроились, а он тут-то и спятил. Ну опомнись! Возьми себя в руки! Ведь у нас дети!

— Дети — это цветы человечества! — восторженно воскликнул поэт. — Разве мы не счастливы, что они зацвели благодаря нам! Ха-ха-ха!

— Да ведь нас с квартиры гонят! — снова всхлипнула жена, вытирая круглый красный нос и запухшие глаза скрученным в комочек платком.

Но он только хохотал в ответ:

— Эх ты, пессимистка! Красавица, но пессимистка. Бери с меня пример и верь, что жизнь прекрасна!

Через три дня их и выгнали.

ДУРАКИ

На первый взгляд кажется, будто все понимают, что такое дурак и почему дурак чем дурее, тем круглее.

Однако если прислушаешься и приглядишься — поймешь, как часто люди ошибаются, принимая за дурака самого обыкновенного глупого или бестолкового человека.

— Вот дурак, — говорят люди. — Вечно у него пустяки в голове!

Они думают, что у дурака бывают когда-нибудь пустяки в голове!

В том-то и дело, что настоящий круглый дурак распознается прежде всего по своей величайшей и непоколебимейшей серьезности. Самый умный человек может быть ветреным и поступать необдуманно, — дурак постоянно все обсуждает; обсудив, поступает соответственно и, поступив, знает, почему он сделал именно так, а не иначе.

Если вы сочтете дураком человека, поступающего безрассудно, вы сделаете такую ошибку, за которую вам потом всю жизнь будет совестно.

Дурак всегда рассуждает.

Простой человек, умный или глупый — безразлично, скажет:

— Погода сегодня скверная, — ну да все равно пойду погуляю.

А дурак рассудит:

— Погода скверная, но я пойду погулять. А почему я пойду? А потому, что дома сидеть весь день вредно. А почему вредно? А просто потому, что вредно.

Дурак не выносит никаких шероховатостей мысли, никаких невыясненных вопросов, никаких нерешенных проблем. Он давно уже все решил, понял и все знает. Он — человек рассудительный и в каждом

вопросе сведет концы с концами и каждую мысль закруглит.

При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак — это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит.

— Что такое? Какие там вопросы?

Сам он давно уже на все ответил и закруглился.

В рассуждениях и закруглениях дураку служат опорой три аксиомы и один постулат.

Аксиомы:

- 1) Здоровье дороже всего.
- 2) Были бы деньги.
- 3) С какой стати.

Постулат:

Так уж надо.

Где не помогают первые, там всегда вывезет последний.

Дураки обыкновенно хорошо устраиваются в жизни. От постоянного рассуждения лицо у них приобретает с годами глубокое и вдумчивое выражение. Они любят отпускать большую бороду, работают усердно, пишут красивым почерком.

— Солидный человек. Не вертопрах, — говорят о дураке. — Только что-то в нем такое... Слишком серьезен, что ли?

Убедясь на практике, что вся мудрость земли им постигнута, дурак принимает на себя хлопотливую и неблагодарную обязанность — учить других. Никто так много и усердно не советует, как дурак.

И это от всей души, потому что, приходя в соприкосновение с людьми, он все время находится в состоянии тяжелого недоумения.

— Чего они все путают, мечутся, суетятся, когда все так ясно и кругло? Видно, не понимают; нужно им объяснить.

— Что такое? О чем вы горюете? Жена застрелилась? Ну так это же очень глупо с ее стороны. Если бы пуля, не дай бог, попала ей в глаз, она бы могла повредить себе зрение. Боже упаси! Здоровье дороже всего!

— Ваш брат помешался от несчастной любви? Он меня прямо удивляет. Я бы ни за что не помешался. С какой стати? Были бы деньги!

Один лично мне знакомый дурак, самой совершенной, будто по циркулю выведенной, круглой формы, специализировался исключительно в вопросах семейной жизни.

— Каждый человек должен жениться. А почему? А потому, что нужно оставить после себя потомство. А почему нужно потомство? А так уж нужно. И все должны жениться на немках.

— Почему же на немках? — спрашивали у него.

— Да так уж нужно.

— Да ведь этак, пожалуй, и немок на всех не хватит.

Тогда дурак обижался:

— Конечно, все можно обратить в смешную сторону.

Дурак этот жил постоянно в Петербурге, и жена его решила отдать своих дочек в один из петербургских институтов.

Дурак воспротивился:

— Гораздо лучше отдать их в Москву. А почему? А потому, что их там очень удобно будет навещать. Сел вечером в вагон, поехал, утром приехал и навеситил. А в Петербурге когда еще соберешься!

В обществе дураки — народ удобный. Они знают, что барышням нужно делать комплименты, хозяйке нужно сказать: «А вы все хлопочете», и, кроме того, никаких неожиданностей дурак вам не преподнесет.

— Я люблю Шаляпина, — ведет дурак светский разговор. — А почему? А потому, что он хорошо поет. А почему хорошо поет? Потому, что у него талант. А почему у него талант? Просто потому, что он талантлив.

Все так кругло, хорошо, удобно. Ни сучка ни задоринки. Подхлестнешь, и покатится.

Дураки часто делают карьеру, и врагов у них нет. Они признаются всеми за дельных и серьезных людей.

Иногда дурак и веселится. Но конечно, в положенное время и в надлежащем месте. Где-нибудь на именинах.

Веселье его заключается в том, что он деловито расскажет какой-нибудь анекдот и тут же объяснит, почему это смешно.

Но он не любит веселиться. Это его роняет в собственных глазах.

Все поведение дурака, как и его наружность, так степенно, серьезно и представительно, что его всюду принимают с почетом. Его охотно выбирают в председатели разных обществ, в представители каких-нибудь интересов. Потому, что дурак приличен. Вся

душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит.

Дурак глубоко презирает то, чего не знает. Искренне презирает.

— Это чьи стихи сейчас читали?

— Бальмонта.

— Бальмонта? Не знаю. Не слышал такого. Вот Лермонтова читал. А Бальмонта никакого не знаю.

Чувствуется, что виноват Бальмонт, что дурак его не знает.

— Ницше? Не знаю. Я Ницше не читал!

И опять таким тоном, что делается стыдно за Ницше.

Большинство дураков читают мало. Но есть особая разновидность, которая всю жизнь учится. Это дураки набитые.

Название это, впрочем, очень неправильное, потому что в дураке, сколько он себя ни набивает, мало что удерживается. Все, что он всасывает глазами, вываливается у него из затылка.

Дураки любят считать себя большими оригиналами и говорят:

— По-моему, музыка иногда очень приятна. Я, вообще, большой чудака!

Чем культурнее страна, чем спокойнее и обеспеченнее жизнь нации, тем круглее и совершеннее форма ее дураков.

И часто надолго остается нерушим круг, сомкнутый дураком в философии, или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует кто-нибудь:

— О, как жутко! О, как кругла стала жизнь!

И прорвет круг.

1-е АПРЕЛЯ

1-е апреля — единственный день в году, когда обманы не только разрешаются, но даже поощряются. И — странное дело — мы, которые в течение трехсот шестидесяти пяти, а в високосный год трехсот шестидесяти шести дней так великолепно надуваем друг друга, в этот единственный день — первого апреля — окончательно теряемся.

В продолжение двух-трех дней, а некоторые так и с самого Благовещения ломают себе голову, придумывая самые замысловатые шутки.

Покупаются специальные первоапрельские открытки, составленные тонко, остроумно и язвительно. На одной, например, изображен осел, а под ним подписано:

«Вот твой портрет».

Или, еще удачнее: на голубой траве пасется розовая свинья, и подпись:

«Ваша личность».

Все это изящно и ядовито, но, к сожалению, очень избито. Поэтому многие предпочитают иллюстрировать свои первоапрельские шутки сами.

Для этого берется четвертушка почтового листа, на ней крупно, печатными буквами, выписывается слово «дурак» или «дура», в зависимости от пола адресата.

Буквы можно, для изящества, раскрасить синими и красными карандашами, окружить завитушками и сиянием, а под ними приписать уже мелким почерком:

«Первое апреля».

И поставить три восклицательных знака.

Этот способ интриги очень забавен, и, наверное, получивший такое письмо долго будет ломать себе голову и перебирать в памяти всех знакомых, стараясь угадать остряка.

Многие изобретательные люди посылают своим знакомым дохлого таракана в спичечной коробке. Но это тоже хорошо изредка, а если каждый год посылать всем тараканов, то очень скоро можно притупить в них радостное недоумение, вызываемое этой тонкой штучкой.

Люди привыкнут и будут относиться равнодушно:

— А, опять этот идиот с тараканами! Ну бросьте же их поскорее куда-нибудь подальше.

Разные веселые шуточки, вроде анонимных писем:

«Сегодня ночью тебя ограбят» — мало кому нравятся.

В настоящее время в первоапрельском обмане большую роль играет телефон.

Выберут по телефонной книжке две фамилии поглупее и звонят к одной.

— Барин дома?

— Да я сам и есть барин.

— Ну так вас господин (имярек второго) немедленно просит приехать к нему по такому-то адресу. Все ваши родственники уже там и просят поторопиться.

Затем трубку вешают, и остальное предоставляется судьбе.

Но лучше всего, конечно, обманы устные.

Хорошо подойти на улице к незнакомой даме и вежливо сказать:

— Сударыня! Вы обронули свой башмак.

Дама сначала засуетится, потом сообразит, в чем дело. Но вам незачем дожидаться ее благодарности за вашу милую шутку. Лучше уходите скорее.

Очень недурно и почти всегда удачно выходит следующая интрига: разговаривая с кем-нибудь, неожиданно воскликните:

— Ай! У вас пушинка на рукаве!

Конечно, найдутся такие, которые равнодушно скажут:

— Пушинка? Ну и пусть себе. Она мне не мешает.

Но из восьмидесяти один, наверное, поднимет локоть, чтобы снять выдуманную пушинку.

Тут вы можете, торжествуя, скакать вокруг него, приплясывая, и припевать:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

С людьми, плохо поддающимся обману, надо действовать нахрапом.

Скажите, например, так:

— Эй! Вы! Послушайте! У вас пуговица на боку!

И прежде чем он успеет выразить свое равнодушие к пуговице или догадку об обмане, орите ему прямо в лицо:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

Тогда всегда выйдет, как будто бы вам удалось его надуть — по крайней мере, для окружающих, которые будут видеть его растерянное лицо и услышат, как вы торжествуете.

Обманывают своих жен первого апреля разве уж только чрезмерные остроумцы. Обыкновенный человек довольствуется на сей предмет всеми тремя

стами шестьюдесятью пятью днями, не претендуя на этот единственный день, освященный обычаем.

Для людей, которым противны обычные пошлые приемы обмана, но которые все-таки хотят быть внимательными к своим знакомым и надуть их первого апреля, я рекомендую следующий способ.

Нужно влететь в комнату озабоченным, запыхавшимся, выпучить глаза и закричать:

— Чего же вы тут сидите, я не понимаю! Вас там, на лестнице, Тургенев спрашивает! Идите же скорее!

Приятель ваш, испуганный и польщенный визитом столь знаменитого писателя, конечно, ринется на лестницу, а вы бегите за ним и там уже, на площадке, начните перед ним приплясывать:

— Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

ВИЗИТЕРКА

Отдали ли вы все визиты, которые должны были отдать?

Получили ли все визиты, которые должны были получить?

Подумайте! Припомните! Ведь еще можно, вероятно, поправить все упущения.

Я знаю, что такое визиты. Я знаю, как возникают визитные отношения, против воли и желания визитствующих сторон; знаю, как долго томят и терзают они своих беззащитных жертв и, вдруг оборвавшись, оставляют их в тягостном и горьком недоумении.

Визиты — это нечто метафизическое.

Вот я вам расскажу маленькую визитную историю, приключившуюся недавно со мною, по виду такую простую и обычную, но всю от первого до последнего слова проникнутую тихим ужасом.

Дело было вот как.

В одном знакомом доме встретила я с очень милой дамой — Анной Петровной Козиной.

Она была очень любезна и приветлива, поговорила со мной немножко и, уходя, сказала:

— Какая вы чуждая! Как бы я хотела познакомиться с вами поближе!

На это я ответила:

— Ах, да что вы! Напротив того, вы чуждая, а вовсе не я, и я буду страшно рада, если вы когда-нибудь заглянете ко мне.

Она ласково улыбалась, и обе мы понимали, что она не придет.

Но вот недели через две встречаю ее на улице. Боясь, что она спросит меня, «как я поживаю», чего я смертельно боюсь, так как ни разу в жизни не сумела на этот вопрос ничего ответить, кроме «мерси», что довольно глупо, — я сама первая затараторила:

— А! Анна Петровна! Ай-ай-ай! Как не стыдно? Вот вы и не зашли ко мне! А я вам поверила и ждала вас. И так мне хотелось, чтобы вы пришли! Разве вы этого не чувствовали?

Вероятно, я перехватила немножко, потому что она как будто удивилась и тотчас деловито спросила, когда меня удобнее застать.

Я назвала день и час, когда бываю дома, и мы расстались, обе какие-то подавленные.

Она пришла ко мне. Посидела несколько минут и ушла, и я видела, как она была рада, что наконец отделалась от моего назойливого зазыванья.

Прошло несколько дней, и обязанность отдать Анне Петровне ее «милый визит» стала ощущаться мною все с большей остротой. Прошла неделя. Две. Началась третья.

Откладывать дольше было нельзя. За что обижать милую, кроткую женщину?

Я отдала визит и, уходя, умоляла ее не забывать меня и заходить запросто.

Потом были мои именины, и она должна была прийти поздравить меня. Пришла не вовремя, помешала интересному разговору, который потом так никогда и не наладился, позвала к себе вечером.

Пришлось пойти. Тоска у нее была такая, что я в первый раз пожалела, что нет у нас порядочного клуба самоубийц.

— Мерси, Анна Петровна! — целовала я ее на прощанье. — Как вы умеете все мило устроить. Да, я страшно веселилась.

Я говорила, а душа моя билась в конвульсиях и громко выла:

«Подлая! За что ты загрызла меня!»

Так как я была у нее вечером, то пришлось и ее позвать вечером. Как аукнется, так и откликнется.

Она пришла! Ну что я могла сделать! Не убить же ее, в самом деле! Ведь она пришла, чтобы не обидеть меня!

Потом были ее именины. Потом, конечно, я опять «откликнулась».

Как-то утром она позвонила ко мне по телефону и сказала, что, вероятно, не сможет прийти вечером, так как кашляет.

Я, забыв всякий стыд и совесть, вопила в трубку:
— Поберегите себя! Не выходите из дому! Сегодня страшный холод. Ну к чему рисковать? Я прямо рассержусь, если вы придете! Не смейте выходить.

Она не пришла. Я была рада, но вместе с тем боялась, не вышло ли неловко, что я так умоляла ее не приходиться. Пришлось, во всяком случае, навестить больную.

Она оказалась здоровой как бык и даже притвориться не сумела, что кашляет.

— Милая, — говорила она. — Вы такая чуждая! Вы навели меня на одре болезни. Я не забуду этого.

Вдруг отчаянная решимость зажгла ее глаза, и с выражением лица укротителя, всовывающего голову в львиную пасть, она прибавила:

— Знаете что? Я завтра же приду к вам пообедать...

Мы обе испугались и некоторое время молча смотрели друг на друга.

Наконец я захлебнулась от восторга:

— Какая вы славная!

Я чувствовала, что на глазах у меня слезы, но я была в таком отчаянии, что даже и скрывать их не хотела. Пусть думает, что я зевнула.

Все утро следующего дня я была сама не своя. Я твердо решила вывести наше темное дело на чистую воду. Вот придет Анна Петровна, а я возьму ее за руку и скажу, глядя ей прямо в глаза:

— Милая! Разве вы не понимаете, что судьба издевается над нами? Разве вы не чувствуете, что черт продернул в наши носы по веревочке и тянет нас

друг к другу с визитами себе на потеху, нам на гибель? За что? Что мы сделали худого? Зачем я должна по четвергам бросать нужное и интересное дело и тащиться к вам на Захарьевскую и мучить вас, отрывая от друзей и близких в продолжение двадцати минут?

Скажем друг другу «довольно» и будем свободны и счастливы.

Но я не решилась! Когда я увидела ее, я сказала:
— Славная!

Да она и действительно очень хорошая женщина. И вот в следующий четверг еду к ней.

Как быть?

ДОЛГ И ЧЕСТЬ

Марья Павловна была женщина энергичная, носила зеленые галстуки и резала в глаза правду-матку.

Она пришла к Мединой в одиннадцать часов утра, когда та была еще не причесана и не подмазана и потому должна была чувствовать себя слабой и беззащитной.

— Так-с! — сказала Марья Павловна, глядя приятельнице прямо в среднюю папильотку. — Все это очень мило. А не потрудишься ли ты объяснить мне, кто это вчера переводил тебя под ручку через улицу? А?

Медина подняла высоко неподмазанные брови, развела руками, повела глазами — словом, сделала все, что было в ее скудных средствах, чтоб изобразить удивление.

— Меня? Вчера? Под ручку? Ничего не понимаю!

— Не понимаешь? Она не понимает! Вот вернется Иван Сергеевич из командировки — он тебе поймет!

Медина собралась было снова развести руками и повести глазами, да как-то ничего не вышло. Поэтому она решила обидеться.

— Нет, я серьезно не понимаю, Мари, о чем ты говоришь!

— Я говорю о том, что ты, пользуясь отсутствием мужа, бегаешь по улицам с дураком Фасольниковым. Да-с! Мало того, полтора часа у подъезда с ним разговаривала. Очень умно!

— Уверяю тебя, — залепетала Медина, — уверяю тебя, что я его совсем не заметила.

— Не заметила, что под руку гуляешь? Ну, это, мать моя, ври другим!

— Даю тебе честное слово! Я такая рассеянная!

— Другой раз смотри, что у тебя под локтем делается. Два часа у подъезда беседовала. Швейцар хихикает, извозчики хихикают, Анна Николаевна проезжала — все видела. Я, говорит, еще с поперечного переулка заметила, что Медина влюблена. Теперь ездит и трещит по всему городу.

Медина всплеснула руками:

— Я? Влюблена? Что за вздор!

— Ври другим, — деловито заметила Марья Павловна и закурила папироску. — Завтра на вечере он у тебя будет?

— Разумеется, нет. Впрочем, я пригласила его, — нельзя же было не пригласить. Так что, может быть, и будет. Ведь на именинах был, так почему же вдруг теперь... Разумеется, придет.

— Поздравляю! Это чтобы все гости за вашей спиной перемигивались? Чрезвычайно умно! Подо-

жди, то ли еще будет! Вернется Иван Сергеевич, станет анонимные письма получать.

Медина притихла.

— Да что ты!

— И очень просто. Анна Николаевна первая напишет. «Откроет глаза».

— Как же мне быть?

— А уж это твое дело. Ты должна поступить, как тебе подсказывают долг и честь.

— А как они подсказывают?

— Ты должна написать своему Фасольникову, что, во-первых, ты — порядочная женщина, а во-вторых, что он не должен больше у тебя бывать.

— Неловко как-то выходит. Я, мол, порядочная женщина, так что, пожалуйста, у меня не бывайте. Точно он должен только к непорядочным ходить!

— Виляй, виляй! А потом и рада бы, да поздно будет. Впрочем, мне все равно.

Марья Павловна встала, демонстративно отряхнула платье и поправила зеленый галстук. Медина взволновалась:

— Подожди, Мари, ради бога! Продиктуй мне, как написать!

Медина села и снова закурила папироску.

— Пиши: Милостивый государь!

— Воля твоя, но я не могу писать «милостивый государь» человеку, который бывал у меня запросто!

— Ну, пиши: «Многоуважаемый Николай Андрич».

— Это такому-то мальчишке писать «многоуважаемый»? Да он себе невесть что в голову заберет. По-моему, нужно написать просто «дорогой».

— Ты думаешь? Ну хорошо; это, пожалуй, можно. Итак «Дорогой Николай Андреич! Честь имею уведомить вас, что я — честная женщина...»

— Воля твоя, не могу так писать. Это точно официальная бумага!

— Ну пиши просто: «Я — женщина честная, и прошу вас...»

— Воля твоя, нехорошо выходит.

— Ну так пиши: «Спешу уведомить вас, что я — честная женщина».

— А он скажет: чего ж она четыре месяца молчала, а теперь вдруг заспешила... Мари, дорогая, не сердись на меня! Может быть, можно это в конце поместить? Знаешь, это даже эффектно выйдет. Уверяю тебя!

— Ну хорошо. Теперь пиши так: «Не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас — не приходите ко мне завтра».

— Воля твоя, ужасно грубо выходит. Может быть, лучше и на самом деле завтрашний вечер отменить?

— Делай, как тебе велят долг и честь.

— А как же они велят? Нужно отменить вечер?

— Конечно отмени. Тогда пиши так: «Не приходите завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений, — ваша чуткость поможет вам догадаться». Вот и все. Подпишись: «Готовая к услугам такая-то» — и посылай.

— Воля твоя, как-то грубо! Может быть, немножко смягчить?

— Мягчи, мягчи! Вот приедет Иван Сергеевич, он тебе помягчит!

— Ах, какая ты, право! Всегда умеешь все так неприятно повернуть. Письмо, конечно, очень хорошо, только — ты уж не сердись — у тебя совсем нет стиля. Понимаешь, — иногда достаточно переставить или вычеркнуть какое-нибудь самое пустое слово — и все письмо приобретает особый колорит. А у тебя все как-то так аляповато, уж ты не сердись!

— Дура ты, дура! Сама двух слов слепить не умеешь, а туда же — сти-иль!

— Пусть дура, пусть не умею. Ты зато очень умна. Смотри сама: в четырех строчках четыре раза «не» повторяется. Это, по-твоему, хороший стиль?

— Разве четыре?

— Четыре.

— Ну, вычеркни одно «не» — и делу конец. А мне пора. Надеюсь, ты поступишь, как тебе велят долг и честь. Отошли письмо сейчас же.

Марья Павловна снисходительно потрепала подругу по щеке и вышла. Медина тяжело вздохнула и села переписывать письмо набело.

— Вычеркну одно «не» — вот и делу конец.

Вычеркнула, переписала, перечитала:

— «Дорогой Николай Андреич! Не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас — приходите ко мне завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений, — ваша чуткость поможет вам догадаться. Готовая к услугам, В. Медина».

Перечитала еще раз и немножко удивилась.

— Странно! Теперь получается как-то не совсем то... но ведь Мари сама сказала, что из четырех «не» зачеркнуть одно всегда можно. И, во всяком случае, стиль от этого только выиграл.

Надушила письмо «Астрисом», отправила, подошла к зеркалу и улыбнулась просветленной улыбкой.

— Как, в сущности, легко повиноваться голосу долга и чести!

ПИСЬМА

Я уж и не говорю о телеграфе и телефоне. Но почта — самая обыкновенная почта, которую вынимают из ящиков в 8 ч. утра, 9 ч. 20 м., 10 ч. и т. д., — разве это не величайшее счастье для человечества?!

Слово «разлука» все более теряет свою жестокую окраску, и скоро ее почти не будет.

Ведь мы и теперь узнаем мысли на расстоянии посредством писем, слышим голос в телефон, и, как говорят, не сегодня-завтра вновь изобретенный особый аппарат даст нам возможность передавать свое изображение на расстоянии.

Мы будем и слышать, и видеть того, кого нет с нами, и останется для нас только одна тоска — тоска о касании.

— Ты здесь?

— Здесь! — говорит знакомый голос и улыбается знакомое лицо.

— Дай мне твою руку!

— Нет, милый друг, это единственное, чего, пожалуй, никогда не будет.

А пока что — будем благословлять почтовое ведомство, ценою одной семикопеечной марки передающее нам всю душу целиком, со всеми ее извилинами и переливами.

Летом все мы разбредаемся в разные стороны, расстаемся со словами:

— Пишите!

— Пишите!

И начинаем писать.

Берем кусочек души, кладем его в конверт, лизнем, заклеим и бросим в пространство. И будет он лететь, пока не упадет в другую душу — открытую, ждущую.

Разве это не счастье?

Сергей Иванович Черников только что отобедал.

Все лицо его выражает одно впечатление — впечатление, полученное от ботвиньи с лососиной, которое не могли изгладить ни последующие цыплята, ни земляничный пирог — словом, ничто.

Сергей Иванович смотрит на жену, сестру и дочку-семилеточку и видит у всех то же выражение.

— А действительно, она была хороша! — машинально говорит он.

Слово «хороша» напоминает ему Веру Павловну.

— А не черкнуть ли ей пару словечек? А то осенью увидимся — начнутся попреки...

Он встал и пошел в свой кабинет.

— Не беспокойте меня до чаю! Мне нужно позаняться немножко.

Выловил мух из чернильницы и стал писать.

«Тверская губ., усадьба Черниковка. Любимая! Где ты?»

— Гм! Я, положим, знаю, что она в Павловске на даче, но ведь должна же она понять, что каждое письмо требует стиля!

«Любимая! Где ты?»

«Сейчас глухая ночь. Я один сижу на скале, слушаю глухой прибой волн...»

— Неудобно, что пишу-то из Тверской губернии! Ну да куда ни шло!

«...прибой волн и спрашиваю у моря: „Море, где моя милая?“ Но море молчит и глухо ревет».

— И действительно, не может же море ответить, что она, мол, в Павловске на даче Чебурякина! Так что выходит вполне естественно.

«...Если бы у меня — увы! — были крылья, я полетел бы к тебе, любимая!»

— Нет, это нехорошо! Это совсем неудачно! Выходит, будто у меня нет денег на железную дорогу!

Нет, так нельзя. Лучше так:

«Если бы у меня были крылья, я бы все время был с тобою...»

— Еще глупее. Точно канарейка! С крыльями и постоянно тут же. Нет. К черту крылья совсем.

«Дорогая! Я так тоскую, что буквально ничего не могу есть...»

— А ботвинья? — уколола вдруг совесть.

Но стиль после краткой борьбы победил ботвинью:

«...а ночью, когда мгновенный сон смежит мои усталые очи, я вижу только тебя, и громкие рыдания потрясают мой организм».

— Ну, кажется, ладно. Какого ей еще рожна?! Теперь можно и всхрапнуть до чаю.

Вера Павловна с утра была не в духе: тот самый лиф, который еще в прошлое воскресенье так хорошо сидел, сегодня ни за что не хотел застегнуться. Его

крючки и петли, точно не желая иметь друг с другом ничего общего, никак не могли преодолеть маленького пространства в какие-нибудь два сантиметра на спине своей хозяйки.

— Ведь не могла же я за одну неделю так растолстеть! — дрожащими губами говорила Вера Павловна. — Неделю назад лиф так хорошо сидел. Верно, просто сел...

— Сидел, сидел да и сел! — шутил веселый муж Веры Павловны. — Сидел да и сел! Ха-ха-ха! Вот так чудеса с твоими платьями!

— Это подло с вашей стороны. Сам же виноват: сегодня подавай ему пироги, завтра — пирожки, — ни одна фигура не выдержит.

— А ты не ешь: кто тебя заставляет? Сиди да смотри, как я ем. Другие, может быть, за такое зрелище большие деньги бы заплатили. Ха-ха-ха!

— Я не могу не есть, когда все кругом едят! У меня душа чуткая!

Она ушла надутая и злая к себе в комнату, заперлась, вытащила из-под подушки письмо Черникова и несколько раз перечитала его.

— Н-да! Это действительно любовь. Какого числа? Двадцать восьмого. А сегодня первое. Какое счастье, что существует почта, а то он там мучится, а я бы и не знала ничего. И за что он меня так любит?!

Она достала бумагу, попрыскала ее белым ирисом и стала писать:

«Твое письмо возродило меня к новой жизни, Сергей!

Я так измучилась! Ты знаешь, как странно, — ведь я тоже ничего не ем. Я так исхудала, что стала

совсем прозрачная, и платье, скользя, падает к моим ногам.

Вся жизнь моя сосредоточена теперь на одном только слове, и это слово — „Сергей Иванович Черников“.

Пусть лицемеры забросают меня камнями, но это так. Милый! Любимый! Единственный! Не презирай меня! Я вся — один порыв к блаженству с тобой!

Твоя Птичка»

Вера Павловна вздохнула.

— Нет, действительно, я растолстела! Это прямо отчаяние! Я покончу с собой!

Потом перечитала письмо. Оно ей очень понравилось, особенно некоторые фразы, и, как хорошая хозяйка, она решила немедленно сервировать их еще раз.

— Напишу сейчас же Аркадию. Тем более что они с Черниковым даже и незнакомы, да и порядочные мужчины никогда не показывают друг другу письма любимой женщины.

«Аркадий! Любимый мой! Единственный! Твое письмо возродило меня к новой жизни.

Вся жизнь моя сосредоточена теперь на одном только слове, и это слово — „Аркадий Петрович Попов“.

Пусть лицемеры забросают меня камнями, но я вся — один порыв к блаженству с тобой!

Твоя Мышка»

— Это еще лучше вышло. Короче и сильнее.

Она торопливо лизнула оба конверта, запечатала и бросила в пространство кусочек своей души,

и он полетел, пока не упал в другую душу, открытую, ждущую.

Загудели поезда, заработали усталые, закоптелые машинисты, выбежали с фонарями в руках невыспавшиеся стрелочники, захопотали начальники станций, защелкал аппаратом изможденный телеграфист, побежали, спотыкаясь, замученные почтальоны, подхлестнули лошадей сонные ямщики.

— Почту везем! Гей! Дело срочное, не опоздать бы.

Гул, шум, треск, стоны, стоны, стоны...

Это летит душа Веры Павловны, которая «вся — порыв к блаженству» с Сергеем Ивановичем и отчасти с Аркадием Петровичем.

И разве можно сказать, что всех этих хлопот слишком много, чтобы обслуживать великую и могучую человеческую душу?

Какое счастье для всех нас, бедных, разлученных, что существует почта!

СЧАСТЛИВАЯ ЛЮБОВЬ

Наталья Михайловна проснулась и, не открывая глаз, вознесла к небу горячую молитву:

— Господи! Пусть сегодня будет скверная погода! Пусть идет дождь, ну хоть не весь день, а только от двух до четырех!

Потом она приоткрыла левый глаз, покосилась на окно и обиделась: молитва ее не была уважена. Небо было чисто, и солнце каталось по нему, как сыр в масле. Дождя не будет, и придется от двух до четырех болтаться по Летнему саду с Сергеем Ильичом.

Наталья Михайловна долго сидела на постели и горько думала. Думала о любви.

— Любовь — очень тяжелая штука! Вот сегодня, например, мне до зарезу нужно к портнихе, к дантисту и за шляпой. А я что делаю? Я бегу в Летний сад на свидание. Конечно, можно притвориться, что заболела. Но ведь он такой безумный, он сейчас же прибежит узнавать, в чем дело, и засядет до вечера. Конечно, свидание с любимым человеком — это большое счастье, но нельзя же из-за счастья оставаться без фулярового платья. Если ему это сказать, он, конечно, застрелится — хо! Он на это мастер! А я не хочу его смерти. Во-первых, потому, что у меня с ним роман. Во-вторых, все-таки из всех, кто бывает у Лазуновых, он самый интересный...

К половине третьего она подходила к Летнему саду, и снова душа ее молилась тайно и горячо:

— Господи! Пусть будет так, что этот дурак пождал-пождал, обиделся и ушел! Я хоть к дантисту успела бы!..

— Здравствуйте, Наталья Михайловна!

Сергей Ильич догонял ее, смущенный и запыхавшийся.

— Как? Вы только что пришли? Вы опоздали? — рассердилась Наталья Михайловна.

— Господь с вами! Я уже больше часа здесь. Нарочно подстерегал вас у входа, чтобы как-нибудь не пропустить.

Вошли в сад.

Няньки, дети, гимназистки, золотушная травка, дырявые деревья.

— Надоел мне этот сад.

— Адски! — согласился Сергей Ильич и, слегка покраснев, прибавил:

— То есть я хотел сказать, что отношусь к нему адски... симпатично, потому что обязан ему столькими счастливыми минутами!

Сели, помолчали.

— Вы сегодня неразговорчивы! — заметила Наталья Михайловна.

— Это оттого, что я адски счастлив, что вижу вас. Наташа, дорогая, ведь я тебя три дня не видел! Я думал, что я прямо не переживу этого!

— Милый! — шепнула Наталья Михайловна, думая про фуляр.

— Ты знаешь, ведь я нигде не был все эти три дня. Сидел дома как бешеный и все мечтал о тебе. Адски мечтал! Актриса Калинская навязала мне билет в театр, вот смотри, могу доказать, видишь билет, — я и то не пошел. Сидел дома! Не могу без тебя! Понимаешь? Это прямо какое-то безумие!

— Покажи билет... А сегодня какое число? Двадцатое? А билет на двадцать первое. Значит, ты еще не пропустил свою Калинскую. Завтра пойдешь.

— Как, неужели на двадцать первое? А я и не посмотрел — вот тебе лучшее доказательство, как мне все безразлично.

— А где же ты видел эту Калинскую? Ведь ты же говоришь, что все время дома сидел?

— Гм... Я ее совсем не видел. Ну вот, ей-богу, даже смешно. А билет, это она мне... по телефону. Адски звонила! Я уж под конец даже не подходил. Должна же она понять, что я не свободен. Все уже догадываются, что я влюблен. Вчера Марья Сергеев-

на говорит: «Отчего вы такой задумчивый?» И погрозила пальцем.

— А где же ты видел Марью Сергеевну?

— Марью Сергеевну? Да, знаешь, пришлось забежать на минутку по делу. Ровно пять минут просидел. Она удерживала и все такое. Но ты сама понимаешь, что без тебя мне там делать нечего. Весь вечер проскучал адски, даже ужинать не остался. К чему? За ужином генерал Пяткин стал рассказывать анекдот, а конец забыл. Хохотали до упаду. Я говорю: «Позвольте, генерал, я dokonчу». А Нина Павловна за него рассердилась. Вообще, масса забавного, я страшно хохотал. То есть не я, а другие, потому что я ведь не оставался ужинать.

— Дорогой! — шепнула Наталья Михайловна, думая о прикладе, который закатиет ей портниха. — Дорогой будет приклад. Самой купить гораздо выйдет дешевле.

— Если бы ты знала, как я тебе адски верен! Третьего дня Верочка Лазунова зовет кататься с ней в моторе. Я говорю: «Вы, кажется, с ума сошли!» И представь себе, эта сумасшедшая чуть не вывалилась. На крутом повороте открыла дверь... Вообще, тоска ужасная... О чем ты задумалась? Наташа, дорогая! Ты ведь знаешь, что для меня никто не существует, кроме тебя! Клянусь! Даже смешно! Я ей прямо сказал: «Сударыня, помните, что это первый и последний раз».

— Кому сказал? Верочке? — очнулась Наталья Михайловна.

— Катерине Ивановне...

— Что? Ничего не понимаю!

— Ах, это так, ерунда. Она очень умная женщина. С ней иногда приятно поговорить о чем-нибудь

серьезном, о политике, о космографии. Она, собственно говоря, недурна собой, то есть симпатична, только дура ужасная. Ну и потом, все-таки старинное знакомство, неловко...

— А как ее фамилия?

— Тар... А впрочем, нет, не Тар... Забыл фамилию. Да, по правде говоря, и не полюбостроил. Мало ли с кем встречаешься, не запоминать же все фамилии. У меня и без того адски много знакомых... Что ты так смотришь? Ты, кажется, думаешь, что я тебе изменяю? Дорогая моя! Мне прямо смешно! Да я и не видал ее... Я видел ее последний раз ровно два года назад, когда мы с тобой еще и знакомы не были. Глупенькая! Не мог же я предчувствовать, что встречу тебя. Хотя, конечно, предчувствия бывают. Я много раз говорил: «Я чувствую, что когда-нибудь адски полюблю». Вот и полюбил. Дай мне твою ручку.

— Как он любит меня! — умилилась Наталья Михайловна. — И к тому же у Лазуновых он, безусловно, самый интересный.

Она взглянула ему в глаза глубоко и страстно и сказала:

— Сережа! Мой Сережа! Ты и понять не можешь, как я люблю тебя! Как я истосковалась за эти дни! Все время я думала только о тебе. Среди всех этих хлопот суетной жизни одна яркая звезда — мысль о тебе. Знаешь, Сережа, сегодня утром, когда я проснулась, я даже глаз еще не успела открыть, как сразу почувствовала: сегодня я его увижу.

— Дорогая! — шепнул Сергей Ильич и, низко опустив голову, словно под тяжестью схлынувшего его счастья, посмотрел потихоньку на часы.

— Как бы я хотела поехать с тобой куда-нибудь вместе и не расставаться недели на две...

— Ну зачем же так мрачно? Можно поехать на один день куда-нибудь — в Сестрорецк, что ли...

— Да, да, и все время быть вместе, не расставаться...

— Вот, например, в следующее воскресенье, если хочешь, можно поехать в Павловск, на музыку.

— И ты еще спрашиваешь, хочу ли я! Да я за это всем пожертвую, жизнь отдам! Поедем, дорогой мой, поедem! И все время будем вместе! Все время! Впрочем, ты говоришь — в следующее воскресенье, не знаю наверное, буду ли я свободна. Кажется, Малинина хотела, чтобы я у нее обедала. Вот тоска-то будет с этой дурой!

— Ну что же делать, раз это нужно! Главное, что мы любим друг друга.

— Да... да, в этом радость. Счастливая любовь — это такая редкость. Который час?

— Половина четвертого.

— Боже мой! А меня ждут по делу. Проводи меня до извозчика. Какой ужас, что так приходится отрываться друг от друга... Я позвоню на днях по телефону.

— Я буду адски ждать! Любовь моя! Любовь моя!

Он долго смотрел ей вслед, пока обращенное к нему лицо ее не скрылось за поворотом. Смотрел как зачарованный, но уста его шептали совсем не соответствующие позе слова:

— «На днях позвоню». Знаем мы ваше «на днях». Конечно, завтра с утра трезвонить начнет! Вот связался на свою голову, а прогнать — наверное, повесится! Дура полосатая!

ТОНКАЯ ШТУЧКА

Дело Николая Ардальоныча было на мази.

Задержки никакой не ожидалось, тем более что у Николая Ардальоныча была в министерстве рука — свой человек, друг и приятель, гимназический товарищ Лаврюша Мигунов.

— Дорогой мой! — говорил Лаврюша. — Я для тебя все сделаю, будь спокоен. Тебе сейчас что нужно? Тебе нужно получить ассигновку. Ну, ты ее и получишь.

— Не задержали бы только, — беспокоился Николай Ардальоныч. — Мне главное — получить ассигновку сейчас же, иначе я сел.

— Почему же ты сядешь? Дорогой мой! А я-то для чего же существую на свете? Ассигновка целиком зависит от генерала, а генерал мне доверяет слепо. Кроме того, дело твое — дело чистое, честное и для министерства выгодное. Чего же тебе волноваться?

— Я сам знаю, что дело чистое, да ведь вот говорят, что без взятки нигде ничего не проведешь, а я взятки никому не давал.

— Это покойный Купфер взятки брал, а с тех пор как я на его месте, ты сам понимаешь, об этом и речи быть не может. Генерал — честнейший человек, очень щепетильный и чрезвычайно подозрительный. Ну да ты сам увидишь. Приходи завтра к двенадцати. Но прошу об одном: никто в министерстве не должен знать, что мы с тобой — друзья. Не то сейчас пойдут разговоры, что вот, мол, Мигунов за своих старается. Еще подумают, что я материально заинтересован.

На другое утро Николай Ардальоныч в самом радужном настроении пришел в министерство.

— Здравствуй, Лаврюша!

Мигунов весь вспыхнул, покосился во все стороны и прошептал, не глядя на приятеля:

— Ради бога, молчите! Ни слова! Выйдем в коридор.

Николай Ардальоныч удивился. Вышел в коридор.

Минуты через две прибежал Лаврюша.

— Ну можно ли так! Ведь ты все дело погубишь! «Лаврюша! Здравствуй!» Ну какой я тебе тут «Лаврюша»?! Ты меня знать не знаешь.

Николай Ардальоныч даже обиделся:

— Да ты что, меня стыдишься, что ли? Что же, я не могу быть с тобой знакомым?

Лаврюша тоскливо поднял брови.

— Господи! Ну как ты не понимаешь? Я, может быть, в душе горжусь знакомством с тобой, но пойми, что здесь не должны об этом знать.

— Право, можно подумать, что ты какую-нибудь подлость сделал ради меня. Ну, будь откровенен: тебе пришлось твоему генералу наплесть что-нибудь?

— Боже упаси! Вот на прошлой неделе дали Иванову ассигновку, — так я прямо советовал генералу не упускать этого дела. Искренно и чистосердечно советовал. Потому что я — человек честный и своему делу предан. С Ивановым я лично ничем не связан. Я и рекомендовал, как честный человек. А согласишься сам, как же я могу рекомендовать твое дело, когда я всей душой желаю тебе успеха? Ведь если генерал об этом догадается, согласишься сам, ведь это верный провал. Тише... кто-то идет.

Лаврюша отскочил и, сделав неестественно равнодушное лицо, стал ковырять ногтем стенку.

Мимо прошел какой-то чиновник и несколько раз с удивлением обернулся.

Лаврюша посмотрел на Николая Ардальоныча и вздохнул:

— Что делать, Коля! Я все-таки надеюсь, что все обойдется благополучно. Теперь иди к нему, а я пройду другой дверью.

Генерал принял Николая Ардальоныча с распростертыми объятиями.

— Поздравляю, от души поздравляю. Очень, очень интересно. Мы вам без лишних проволочек сейчас и ассигновочку напишем. Лаврентий Иванович! Вот нужно вашему приятелю ассигновочку написать...

Лаврюша подошел к столу бледный, с бегающими глазами.

— К-какому при... приятелю? — залепетал он.

— Как какому? — удивился генерал. — Да вот господину Вербину. Ведь вы, помнится, говорили, что он — ваш друг.

— Н-ничего п-подобного, — задрожал Лаврюша. — Я его не знаю... Я не знаком... Я пошутил.

Генерал удивленно посмотрел на Лаврюшу.

Лаврюша, бледный, с дрожащими губами и бегающими глазами, стоял подлец подлецом.

— Серьезно? — спросил генерал. — Ну, значит, я что-нибудь спутал. Тем не менее нужно будет написать господину Вербину ассигновку.

Лаврюша побледнел еще больше и сказал твердо:

— Нет, Андрей Петрович, мы эту ассигновку выдать сейчас не можем. Тут у господина Вербина не

хватает кое-каких расчетов. Нужно, чтобы он сначала представил все расчеты, и тут еще следует одну копию...

— Пустяки, — сказал генерал, — ассигновку можно выдать сегодня, а расчет мы потом присоединим к делу. Ведь там же все ясно!

— Нет! — тоскливо упорствовал Лаврюша. — Это будет не по правилам. Этого мы сделать не можем.

Генерал усмехнулся и обратился к Николаю Ардальонычу:

— Уж простите, господин Вербин. Видите, какие у меня чиновники строгие формалисты! Придется вам сначала представить все, что нужно, по форме...

— Ваше превосходительство! — взметнулся Николай Ардальоныч.

Тот развел руками.

— Не могу! Видите, какие они у меня строгие.

А Лаврюша ел приятеля глазами, и зрочки его кричали: «Молчи! Молчи!»

В коридоре Лаврюша нагнал его.

— Ты не сердись! Я сделал все, что мог.

— Спасибо тебе! — шипел Николай Ардальоныч. — Без тебя бы я ассигновку получил...

— Дорогой мой! Но ведь зато ему теперь и в голову не придет, что в душе я горой за тебя. Сознайся, что я — тонкая штучка!

А генерал в это время говорил своему помощнику:

— Знаете, не понравился мне сегодня наш Лаврентий Иваныч. Оч-чень не понравился! Странно он себя вел с этим своим приятелем. Шушукался в коридоре, потом отрекся от всякого знакомства. Что-то некрасивое.

— Вероятно, хотел взятку сорвать, да не выгорело — вот он потом со злости и подгадил, — предположил генеральский помощник.

— Н-да... Что-то некрасивое. Нужно будет попросить, чтобы этого бойкого юношу убрали от нас куда-нибудь подальше. Он, очевидно, тонкая штучка!

ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого калия, который ей непременно принесут в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.

За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.

— К чему?

Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большей частью она — актриса.

Иногда просто разведенная жена.

Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.

— К чему?

У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.

Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

— Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.

Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но «она» уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.

— К чему?

Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.

И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе.

Она никому не читает их.

— К чему?

Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев, с опасностью для жизни, ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился, — последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она наконец согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.

— К чему?

А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на ма-

шинке листы и долго оттирает резинкой начертанные слова «Возвр.», «К возвр.».

— Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.

— Да, я работала.

— Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!

— К чему?

За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.

— Марья Николаевна, — говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте, — Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.

Демоническая закрывает глаза рукою и заговорит истерически:

— Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра... да. И завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!

Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелиются.

— Пьет.

— Какая загадочная!

— И завтра, говорит, пить буду...

Начнет закусывать простая женщина, скажет:

— Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:

— Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее... больше... больше, смотрите все... я ем селедку!

В сущности, что случилось?

Просто разыгрался аппетит и потянуло на соленькое. А какой эффект!

— Вы слышали? Вы слышали?

— Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.

— ?

— А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник...

Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами:

— Мне, собственно говоря, ненадолго... всего только двадцать пять рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе... я смогу...

Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полужакрытыми глазами:

— Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня... Я хочу, — вы слышите? — я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же, — вы слышите? — сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите? — хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я тввварь!.. Теперь идите... идите... не оборачиваясь, уходите скорее, скорей... Ха-ха-ха!

Истерический смех должен потрясти все ее существо, даже оба существа — ее и его.

— Скорей... скорей, не оборачиваясь... уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь... Ха-ха-ха!

И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая странная, загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.

— Да. Здесь чувствуется тайна.

— Может быть... она полюбила меня...

— !

— Тайна!

СЛАДКАЯ ОТРАВА

На Масленной неделе пошли смотреть фокусника. В маленьком балаганчике, обвешанном бурями тряпками, веяло чудесами.

Тихо повизгивала скрипка, и постукивал бубен.

Пахло краской и паклей, а так как в балаганчике ни того ни другого не было, то и это обонятельное явление можно было отнести к разряду чудесных.

Квочкин с женой уселись рядом. Петькин нос торчал между левым коленом отца и правым коленом матери и мерно сопел от напряженного внимания.

Да и было от чего напрягаться.

На сцене происходили вещи, способные поразить самое разнузданное воображение.

Ели стекло, глотали огонь со стеариновой свечки, жевали горящую паклю, вытаскивали друг у друга из носу серебряные рубли, а главный фокусник, покудахтав минуты полторы, снес яйцо из носового платка.

Квочкин, как лицо высшее, на обязанность которого судьба возложила опекать и просвещать две вверенные ему души — женину и Петькину, объяснял им конструкцию всех этих чудес ясно и толково, предостерегая от суеверных заблуждений.

— Смотри-ка, руль с носу вытянул! — ахала душа жены. — И что же это такое! Сама видела, — нос у того мужчины порожний был. Из порожнего носа руль выколупал! И это что же такое!

— Электричество! Очень просто — это он электричеством делает, — холодно и спокойно объяснял Квочкин.

— Господи, до чего себя довели! Смотри, смотри, пакля горит, а он ее гложет!

— Магнетизм. При помощи магнетизма. Очень просто. Обычное явление.

— Господи! А может, это он с голоду. С голоду и не то слопаешь.

— Магнетизм. Все это магнетизм чистейшей воды.

Фокусник, отодвинув своих помощников, зажег свечку и обратился к публике с речью на волшебном языке, отличавшемся от русского только тем, что все падежи в нем были неправильны.

— Прошу почтеннейшая публика быть внимательная и одолжить мне носовым платком.

Публика недоверчиво молчала.

— Очень прошу, — продолжал фокусник, — одному носовому платку, которому возвращу в целости.

И вдруг с Квочкиным случилось что-то странное: сердце у него быстро и тревожно застучало, в горле что-то дрогнуло, — он вытащил из кармана свой большой толстый платок с меткой Н. К. — Николай

Квочкин, встал, поднялся на две ступеньки эстрады и подал платок фокуснику.

— Очень вами благодарю.

Квочкин вернулся на место. Фокусник и все, что делалось на эстраде, вдруг приобрело для него особый, острый интерес. Сердце продолжало биться, но уже не тревожно, а радостно; он чувствовал, что покраснел и ноздри у него раздуваются. Ему казалось, что все смотрят на него, и он не смел поднять глаз от смущения и удовольствия.

— Итак, вот этот платку, — говорил фокусник, — я теперь развертываю и показываю почтеннейший публиком. Теперь я складываю его вот так и подношу к свечке. Попрошу музыку играть.

Взвизгнула скрипка, испуганно торопясь, заскакал за ней бубен.

Квочкин смотрел на свой платок под аккомпанемент музыки и сладко волновался.

— Спалит он платок-то, — шептала жена. — Небось, никто своего платка не дал, а нашему ничего не жаль.

— Молчи! — цыкнул Квочкин и почувствовал, как вдруг жена стала ему чужой, далекой и ненужной, и сопящий Петька давил на ногу, как куль. Стоило их тоже с собой брать!

— Чиво я молчать буду, когда он мое добро жжет. Своим горбом наживали-то. Не бог весть сколько платков-то напасено. Ишь, жжет, — паленым пахнет.

— Теперь попрошу музыку замолчать! — крикнул фокусник. — Раз! Два! Три! И вот вам платок, цел и невредим, — обратился он к Квочкину. — Покорно вам мерси за содействие.

Квочкин взял свой платок, гордо окинул публику орлиным взглядом и медленно спустился с эстрады.

— Господи, — ахала жена, — платок-то ведь целехонек. Ни тебе дырки, ни тебе заплатки. А сама слышала: паленым пахло!

— Молчи, деревня, — зашипел Квочкин.

Он отодвинулся насколько мог дальше от опостылевшей семьи и весь ушел в искусство.

Когда фокусник вынул из шляпы живого кролика, он не ахал вместе с другими, а, слегка подбоченясь, окидывал публику торжествующим взглядом.

— Электричество — очень просто. Необразованность, конечно, не понимает свою серость.

Он уже принадлежал эстраде. Когда фокусник, жонглируя, нечаянно разбил яйцо и публика захотала, он расстроился и почувствовал неудачу острее и больнее самого исполнителя.

— Пошла домой, — сказал он жене после представления, — я к куму зайду.

Кум был, что называется, «не оправивши после вчерашнего». Сидел на кровати и смотрел на собственные ноги в серых валенках с таким тупым удивлением, будто видел их в первый раз в жизни.

— Не могу я так больше! — тоном трагического любовника сказал Квочкин. — Среда душит.

— А ты не пей, — прогнусавил кум.

— Да я не пью.

— Ну так пей.

Помолчали.

Квочкин встал.

— Ну, прощай, брат. Думаю я об одной вещи. Я, брат, в актеры хочу. А?

Кум смотрел на валенки.

— Главное, что? Главное, ежели ты на сцене, это чтобы не волноваться. А я не волнуюсь. Ей-богу. Бог тебе, ни капли. Публика прямо ахнула, а я хоть бы что. А?

Кум смотрел на валенки.

— Так вот, как ты мне посоветуешь? Идти? А?

Кум вдруг поднял голову, посмотрел тускло, сплюнул:

— А по мне, хоть к черту.

Квочкин не обиделся. Он только вздохнул, повернулся и вышел.

— Необразован через свою серость. Нельзя с ним говорить.

Шел по улице, и думал, и вспоминал, и даже слегка поправлял прошлое и делал его еще радостнее.

— Ваш платок...

— Вот-с. Извольте-с. Что ему делается.

— Мерсите вам...

— И с нашей стороны тоже.

— Вот-с... в целости...

— Очень понимаем... электричество...

— Bravo, bravo, bravo.

— Ваша фамилия-с?

— Их фамилия Квочкин!..

— Уррра!

ВДОВА

Марья Николаевна вдовствует уже второй год.

Это ее исключительное занятие. И все это знают.

— А как поживает наша очаровательная Марья Николаевна?

— Да ничего. Вдовствует.

Вы думаете, вдовствовать легко?

Вы вот, например, просто купите билет и пойдите в театр или отправитесь к Филиппову за свежими булками, а Марья Николаевна, проделывая то же самое, должна при этом еще и вдовствовать.

Как, собственно, это делается, — объяснить вам не могу, но факт остается фактом.

На тринадцатом месяце этого сложного занятия неожиданно узнала она, что вдовствует совсем глупо и непроизводительно, а именно — без всякой пенсии.

— Как же так? Ведь ваш муж служил, а вы вдруг остались без пенсии? Воля ваша, а это что-то странное.

— Как же быть? — взволновалась Марья Николаевна.

— Хлопочите, голубушка. Ведь вы же — вдова законного статского советника.

И вдовство Марьи Николаевны получило правильный уклон.

Она стала хлопотать.

Надевалось черное платье с длинными рукавами и кругло вырезанным воротом — стиль средневековых затворниц, — глаза опускались, губы подмазывались rouge éclatant, — «в нем есть что-то ало-скорбное». Ехала к генералу. Потом к другому генералу. Потом еще к кому-то вроде генерала. Потом еще к какому-то «ужасному» господину, который поцеловал ей руку в ладонь, а в бороде у него дрожал кусочек яичницы.

Наконец что-то помогло.

Может быть, ладонь.

Получила Марья Николаевна извещение, что к ней явится полицейский пристав для удостоверения, что она никакого имущества не имеет.

Марья Николаевна встретила пристава с печально-покорным лицом и вдовствовала, тихо склонив голову.

— Чудесная у вас квартира, — одобрил пристав, покручивая усы. — С ба-альшим вкусом обставлена. Дорого платите?

«Бурбон», — подумала Марья Николаевна и ответила, вздохнув:

— Две с половиной тысячи. Шесть комнат.

— Для такой, pardon, очаровательной дамы, конечно, и не может быть меньше.

«Пожалуй что, и не бурбон», — поколебалась Марья Николаевна.

— А здесь кабинетик? Разрешите взглянуть? Удивительно красиво! Это, наверное, ваш личный вкус? На всем заметен отпечаток, как говорится, руки красивой женщины. Ар-ромат!

«Положительно, не бурбон», — окончательно установила Марья Николаевна и порозовела.

— Это настоящие гравюры?

— Настоящие, настоящие. А это все — копенгагенский фарфор, — кротко отвечала вдова. — Нет, эта группа тигров стоит четыреста рублей.

— Очаровательно! Извините, сударыня, что я в служебном наряде... Я не предвидел, что буду иметь удовольствие... Неужели четыреста? Ну, прямо как живые: минута — и растерзают. Я вас не задерживаю?

— Ах нет, пожалуйста. Я рада отдохнуть дома, а то все хлопочу, вдовствую, перебиваюсь. Столько

возни с этой пенсией. Всего-то рублей шестьдесят... Но когда у человека ничего нет, то и шестьдесят рублей — большие деньги.

— Здесь, кажется, столовая? Вы разрешите?

— Пожалуйста. Не хотите ли попробовать этот виноград? Это из моего крымского имения. Там у меня клочок земли...

— Премного обязан... Какая чудная ваза!

— Да, это целый прибор, — вздохнула вдова. — Серебро, дивная работа.

— А это хрусталь?

— Хрусталь. Посмотрите, какой тонкий. Его страшно в руки взять. Хрупкий. А если разобьется? У меня нет даже пенсии, чтобы купить новый.

— Действительно, это ужасно! — вздохнул и пристав. — А это ковры?

— Гобелены. Настоящие. Только две штуки. У меня ведь ничего нет! Вы видите сами.

— Действительно, сударыня, тяжелая картина. Это рояль?

— Это «Миньон». Кажется, около трех тысяч. Я люблю музыку. Вы знаете, когда человек бедствует, музыка — лучшее утешение. А ведь у меня ничего нет. Вы видите сами!

— Действительно, сударыня, у вас ничего нет. Я, с вашего разрешения, так и напишу, что имущества у вас никакого не оказалось.

— Да, да... напишите, — грустно улыбнулась вдова. — Мне так тяжело говорить об этом, но что же делать!

— Что же делать, сударыня, раз у вас действительно ничего нет.

— Теперь у меня вся надежда на эту пенсию, на эту лепту вдовицы.

- Честь имею...
- Благодарю вас.

Марья Николаевна томно улыбнулась, пожала руку приставу и пошла в свой розовый кабинетик тихо повдвоствовать до обеда. Потому что к обеду будет много народу, и нужно хорошенько отдохнуть.

АМЕРИКАНСКИЙ РАССКАЗ

Из всех родов современной литературы, безусловно, наиболее полезный — это американский рассказ, помещаемый вместо фельетона в американских газетах.

В подобном рассказе читатель всегда найдет все необходимые сведения как для себя, так и для своей семьи.

Лиц, никогда не просматривавших американские газеты, считаю приятным долгом ознакомить хотя бы вкратце с таким рассказом.

Знаю, что это выйдет скверно «сыгранный Фрейшиц перстами робких учениц».

Но что же делать!

Итак:

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ЛОСОСИНУ БЭКА

(Рассказ Джона Смита, желающего жениться на вдове средних лет, со средствами)

Дочь миллиардера Кенни встала очень рано.

Сделала она это по совету известного врача Смолья, живущего на 16-й авеню, в доме № 3, принимающего ежедневно, от двух до шести вечера, по одному доллару за совет.

Мисс Кенни нажала кнопку электрического звонка, купленного на 8-й авеню, № 16, дешево, вне конкуренции, и сказала прибежавшей на ее зов горничной, нанятой в «бюро честных служанок», где можно всегда достать хорошую прислугу, с рекомендациями и залогом:

— Я хочу лососины. Принесите мне лососины фабрики консервов Уайта.

Честная служанка, с рекомендацией и залогом, в ужасе всплеснула руками:

— О, что вы говорите! Я читала уже несколько предостережений относительно фабрики Уайта. Она недобросовестна, лососина ее недоброкачественна и приготовлена небрежно.

— Мне надоели консервы Бэка, которые я ем постоянно.

И дочь миллиардера беспечно махнула рукой, а горничная с рекомендациями, из «бюро честных служанок», почтительно поклонившись, пошла выполнять приказание своей госпожи. Мисс Кенни стала одеваться.

Надев чулки без шва, с двойным следом, купленные чрезвычайно дешево у «Мери Хау с сыновьями», она вымылась мылом «Белая утка», приобретенным за четыре пенса кусок в магазине Джека Смита (отца автора этого рассказа), вне конкуренции.

Мыло это мгновенно придало недосыгаемую белизну коже молодой миллиардерши.

Расчесав волосы неломаящимся гребнем Петерса, она съела несколько бисквитов Беккера, которые великолепно восстановили ее силы. Бисквиты эти, приготовленные по специальному рецепту, составляющему секрет фирмы, кроме насыщения пи-

тающегося ими субъекта, обладают еще необычайным свойством никогда не портиться и быть очень приятными на вкус. Все это ставит их в положение вне конкуренции.

Надев платье от «Мери Блек» — очень дешево, допускается рассрочка, — молодая красавица покончила с туалетом и стала ждать заказанную лососину.

Думая о лососине, она тем не менее не забывала и о молодом Давиде Дей, который ей безумно нравился. Она с радостью вышла бы замуж за Дея, но ее отец никогда не разрешит ей этого брака с простым миллионером. Для дочери миллиардера это было бы позором и мезальянсом.

Наконец пришла честная горничная и принесла коробку консервов Уайта.

На вид коробка была очень красива, но все мы знаем, что наружность бывает обманчива.

Едва юная миллиардерша съела первый кусок лососины, как вдруг почувствовала тошноту. Ясное дело — рыба была недоброкачественна.

— Скорей, скорей патентованные пилюли Грина! Скорей, иначе будет поздно!

Честная горничная дрожащими руками подала своей госпоже пилюли Грина.

Страдания молодой американки несколько утихли, когда раздался телефонный звонок.

— Алло! — сказала мисс Кенни тихим голосом, измученным несвежей лососиной. — Кто у телефона?

— Это я, дорогая Мод! Я, неизменно любящий тебя Давид Дей. Пожелай мне счастья!

— В чем дело? — встревожилась Мод.

— Дело в том, что я сегодня держал пари на один миллиард с твоим отцом. Если я выиграю, я буду миллиардером и могу жениться на тебе, если проиграю, — должен отказаться от тебя навсегда и выплатить в течение двадцати лет проигранную сумму.

— А какое пари? — спросила Мод голосом, дрогнувшим уже не от лососины.

— Мы держали пари о том, какие консервы лучше. Я говорил, что консервы Бэка, а он утверждает, что Уайта.

Мисс Кенни дико вскрикнула от радости.

— Беги ко мне, Давид! Я твоя на всю жизнь, и ничто не разлучит нас, потому что меня тошнит от лососины Уайта!

Ровно через год улыбающаяся Мод Дей поднесла к своему мужу розового, голубоглазого Дэви, который протянул к отцу свои пухлые ручонки и сказал первую выученную им фразу:

— Покупайте только лососину Бэка.

И родители переглянулись со слезами радости на глазах.

ЖИЗНЬ И ТЕМЫ

Часто упрекают нас, бедных тружеников пера, что наши вымыслы слишком расходятся с жизнью и так явно неправдоподобны, что не могут вызвать веры в себя и доверия к себе.

Мните это столь несправедливо, что, в конце концов, чувствую потребность отстоять и себя, и других.

Я лично давно уже убедилась, что как бы ни были нелепы написанные мною выдумки, жизнь, если

захочет, напишет куда нелепее! И почти каждый раз, когда меня упрекали в невероятности описанных событий, — события эти бывали взяты мною целиком из жизни.

У писателя почти всегда хороший культурный вкус, чувство меры, тактичность.

У жизни ничего этого нет, и валяет она прямо, без запятых. Вероятно, диктует какому-нибудь своему подручному дьяволу, а тот записывает и исполняет.

Часто добрые люди стараются прийти на помощь писательскому творчеству и дают «интересную тему».

— Вот для вас чудная тема! Прямо невероятное событие!

И расскажут действительно невероятное событие.

Если вы пожелаете обратить это событие в рассказ, то можете быть уверены, что ни одна уважающая себя редакция произведения вашего не напечатает. Вам скажут, что вы не знаете быта, не знаете жизни, не знаете людей и не знаете грамоты.

Подлинные происшествия нужно перерабатывать в литературные произведения, старательно подлаживая их под те требования, которые мы желаем предъявлять к жизни.

Трудно и скучно. Поэтому сюжетов из жизни никому брать не советую.

Даже питаясь исключительно продуктами собственного воображения, часто попадаешь в неприятные истории. Придет какая-нибудь милая дама, подожмет губы и скажет язвительно:

— А я читала, как вы меня продернули.

— Я? Вас? Когда?

— Нечего! Нечего! Ведь вы же написали, что одна толстая дама сломала свой зонтик, а я как раз вчера сломала.

— Так ведь я два месяца тому назад написала, не могла же я предвидеть, что это с вами случится!

— Ах, не все ли равно, когда это случилось — вчера, два месяца тому назад? Важен факт, а не время. Стыдно, стыдно друзей высмеивать!

— Да, ей-богу же, я...

— Ну, нечего, нечего!

И она демонстративно переменит разговор.

Когда вы описываете действительное происшествие, у вас получается такая ни на что не похожая штука, что все равно никто ничему не поверит. Если же наврете, насочиняете, наплетете, нагородите, — десять человек откликнется.

Напишите вы святочный рассказ, как обезумевший дантист проглотил в рождественскую ночь свою сверлильную машину. Редактор поморщится, скажет, что это совсем уж ни на что не похоже и что у вас фантазия прогрессивного паралитика, но, если рассказ этот напечатают, — вы получите через неделю десять писем от дантистов Европейской России, а еще через неделю — десять от дантистов Азиатской России с горькими упреками: зачем вы врываетесь в их частную жизнь и семейные дела? Будут письма и скорбные, и угрожающие.

«Милостивый государь! — напишут вам. — Прошу вас взять ваши слова назад, потому что сын мой не способен на такой низкий поступок, как порча инструмента своего товарища».

«Милостивый государь! Зачем вы бросили тень на прошлое бедной девушки? Теперь все подумают,

что, уничтожив свою машинку, ее жених хотел отомстить за свое поруганное чувство».

«Милостивый государь! Ах, это святая правда. В наше безвременье человек ни перед чем не остановится».

«Милостивый государь! Проведенная в вашей статье идея возмутила нас, нижеподписавшихся, до глубины души».

«Милостивый государь! Вы клеветеете на русское общество. Назовите мне такую обитель, где бы русский мужик не страдал! Но, как видно, вы не бывали на Волге! Стыдитесь».

«Милостивый государь! Уверяю вас, что я не виноват. Подлец Окуркин просрочил вексель, и только потому пришлось пожертвовать машинкой. Умоляю вас, не думайте обо мне худо!»

Станет жутко.

Что же это такое? Разве не я сама собственной головой выдумала этого дантиста, и вот зашевелилось со всех концов, всхлипнуло, потянулось с обидой, с вопросами, с требованиями, с упреками. И все это оттого, что выдумка ваша слишком нелепа и потому похожа на жизнь.

Если вы хотели остаться только в литературе, вы должны были бы написать, что печальный дантист продал свою машинку или нечаянно ее сломал. Вот и все.

Недавно я была поражена, до чего грубо и безвкусно острит жизнь.

Слушался в суде процесс, и среди свидетелей фигурировали двое юнкеров-кавалеристов. Фамилия одного была Кобылин, а другого — Жеребцов.

Ведь самый заваливающий фельетонист самой заваливающей провинциальной газетки не позволит себе такого пошлого зубоскальства! Ну, сострить немножко, в меру с тактом, в пределах жизненности и возможности. Оставь одного Кобылина или одного Жеребцова, и того за глаза хватит. А то ведь грубо, ненужно, ни на что не похоже!

Придумай такую штучку какой-нибудь беллетрист, ему бы солоно пришлось. Написали бы о нем, что приемы его остроумия весьма грубы и примитивны, рассчитаны на самый низкий вкус и обличают в авторе старшего дворника.

А раз эта блестящая выдумка принадлежит самой жизни, все относится к ней с какой-то трусливой почтительностью.

Жизнь, как беллетристика, страшно безвкусна. Красивый, яркий роман она может вдруг скомкать, смять, оборвать на самом смешном и нелепом положении, а маленькому дурацкому водевилю припишет конец из «Гамлета».

И обидно, и досадно, и советую всем не портить себе вкуса, изучая эти скверные образцы.

Ну что поделаешь, если выдуманная правда гораздо жизненнее настоящей!

СТРАШНЫЙ ГОСТЬ

Американский рождественский рассказ

В рождественский сочельник, когда все театры закрыты и люди предаются мирным семейным забавам, холостякам деваться некуда.

Поэтому в клубе стали собираться рано, и к двенадцати часам игра была в полном разгаре.

Молодой инженер Джон Уильстер, проиграв изрядную сумму, отошел от стола, чтобы отдохнуть и перебить несчастную полосу.

Наблюдая за играющими, он заметил элегантного молодого человека, высокого, с острым крючковатым носом и быстрыми движениями, которого он раньше не встречал здесь.

Молодой человек не играл, а только вертелся у стола, толкая всех локтями и вызывающе смеясь над каждым, кому не везло.

— Что это за неприятный субъект? — спросил Уильстер у своего соседа.

— Не знаю. Очевидно, гость, так как он не играет.

А незнакомец в это время хлопал по плечу мистера Вильямса, старейшего и почтеннейшего члена клуба, и кричал:

— Не везет старикашке! Поделом, нельзя играть как сапожник.

Мистер Вильямс покраснел и сказал сухо:

— Я попросил бы вас не быть таким фамильярным со мной, милостивый государь!

— Каково! — захохотал незнакомец. — Он же еще и недоволен мною!

Вильямс пожал плечами и отошел от нахала.

— Кто это? — спросил он у дежурного старшины.

— Право, не знаю, какой-то мистер Блэк.

— А кто же его рекомендовал?

— Кто-то из членов. Сейчас я отыщу его карточку.

Старшина выдвинул ящик стола и достал визитную карточку.

— Мистер Джонс. Он впущен по рекомендации Джонса.

— Джонса? Бедный Джонс — ведь он вчера скончался.

— Да, я знаю, — ответил старшина и, подумав, прибавил: — Но ведь рекомендацию он мог выдать дня за два до смерти. Тут число не проставлено.

— Надеюсь, что не после смерти, — проворчал Вильямс — и снова подошел к столу.

Незнакомец продолжал приставать и раздражать всех.

— Вы мне наступили на ногу! — вскрикнул один из игроков.

— Не беда! — дерзко ответил незнакомец и остановился в вызывающей позе, точно ожидал и желал ссоры.

Но, поглощенный картами, игрок не обратил внимания на его реплику, и незнакомец отвернулся с явной досадой.

— Кто это такой? — спросил у Вильямса инженер Уильстер.

— А кто его знает! Пришел сюда по загробной рекомендации от одного покойничка и чудит.

— От покойника? — удивился инженер. — А как же его фамилия?

— Блэк.

— Блэк? Блэк значит черный... Кто он такой?

— Должно быть, дьявол, — невозмутимо ответил Вильямс.

Уильстер усмехнулся, но ему почему-то стала неприятна шутка Вильямса.

— Что за вздор! Почему он рекомендован покойником?..

Он подошел к незнакомцу и с любопытством стал приглядываться к нему.

Тот действительно был похож на черта, каким принято его изображать. Остроглазый, носатый и даже слегка прихрамывал, точно обул башмак не на ноги, а на копытца и не мог свободно ходить.

Лоб у него был узкий, высокий с заливами, и прямой пробор раздвигал жесткие волосы, которые торчали над висками двумя черными рожками.

Странное жуткое чувство охватило молодого инженера.

«Может быть, я сплю, — подумал он. — А если сплю, — тем веселее, потому что тогда этот господин самый настоящий черт».

В это время кто-то из игроков крикнул незнакомцу:

— Пожалуйста, не трогайте мои карты.

На что незнакомец ответил с мальчишеской заносчивостью:

— Хочу и трогаю!

Потом посмотрел внимательно на того, с кем говорил, и вдруг переменял тон:

— Впрочем, извиняюсь. С вами мне делать нечего, вы слишком и худощавый, и слабосильный. Я извиняюсь.

Он отошел от стола, и все удивленно расступились перед ним.

К Уильстеру подошел один из членов клуба, молодой поэт. Лицо его было бледно, и он растерянно улыбался.

— Кто этот господин, вы не знаете? — спросил он Уильстера. — Правда, что его рекомендовал кто-то в загробном письме? Я ничего не понимаю.

— Я сам ничего не понимаю, — признался Уильстер.

— Зачем он систематически вызывает всех на ссору с ним? Может быть, это какой-нибудь известный бретер и ищет дуэли?

В таком случае отчего же он извинился сейчас перед Тернером?

— Ничего не понимаю. Или я сплю, или я поверил в черта.

Он криво усмехнулся и отошел.

— Он тоже думает, что он спит! — пробормотал Уильстер. — Нет, это я сплю. Иначе я сошел с ума и галлюцинирую.

Он сжал себе виски руками и вдруг смело подошел прямо к незнакомцу.

— Итак, черный господин, — сказал он, — вы явились сюда ровно в полночь, — не правда ли? И предъявили визитную карточку покойника, и у вас рога на голове и копыта в сапогах, и вы пришли, чтобы выбрать жертву и погубить ее. Не правда ли, господин Блэк?

Незнакомец пристально взглянул Уильстеру прямо в лицо своими острыми глазами, потом оглядел всю его фигуру и вдруг сказал:

— Мне ваша физиономия не нравится!

Это уже был не сон.

Уильстер вспыхнул:

— Вы мне за это ответите, милостивый государь. Вот моя визитная карточка.

Но незнакомец не принял карточки Уильстера.

— Я не буду драться с вами, мальчишка, — презрительно ответил он. — Вы трус! Вы никогда не посмеете даже дать мне пощечину! Ваша рука слишком слаба для удара.

Это было что-то неслыханное.

Ему, Уильстеру, знаменитому боксеру, говорят, что его рука слишком слаба. Или все это действительно снится ему?

Он поднял глаза.

Незнакомец стоял, повернувшись к нему почти в профиль, и ждал.

Уильстер вскрикнул и ударил со всей силы по обернутой к нему щеке дьявола.

Тот ахнул и упал.

— Доктора! — закричал он. — Скорее доктора, — и засунул палец себе в рот.

Сидевший среди играющих доктор кинулся к нему.

Незнакомец медленно поднялся и, обращаясь к доктору, сказал:

— Освидетельствуйте меня скорее и констатируйте факт: два зуба выбиты — вот здесь и здесь, а два, находящиеся между ними, остались целы и даже не шатаются. Можете убедиться. Это происходит оттого, — торжественно продолжал он, — что выбитые зубы были вставлены обыкновенным способом, а оставшиеся — по новому способу дантиста Янча, живущего в Лег-стрите, дом № 130 Б, принимает ежедневно от часу до пяти, два доллара за визит!

Он вскочил и, медленно отступая к дверям, стал разбрасывать веером визитные карточки.

— Дантист Янч, Лег-стрит, 130 Б! — повторял он. — Подробный адрес на этой карточке. Доктор Янч! Лег-стрит!

Лицо его преобразилось. Он имел спокойный и довольный вид человека, хорошо обделавшего выгодное дельце.

— Дантист Янч, — донеслось уже из-за двери. — Лег-стрит.

Игроки молча смотрели друг на друга.

ГЕДДА ГАБЛЕР

Они все хотят играть Гедду Габлер. Все. Начиная от маленькой шепелявой *ingénue* и кончая комической старухой с тройным подбородком и подагрическими пальцами.

Если вы увидите в оперетке какую-нибудь толстую тетку короля или жену трактирщика, будьте уверены, что вся показываемая вам буффонада — только корявая оболочка, в которой, как кашеева смерть в голубином яйце, невидимо, но плотно угнездилась мечта о Гедде Габлер.

Как-то в одном из маленьких наших театриков ставилась маленькая пьеска маленького драматурга. По просьбе автора одну из ролей отдали его жене.

Для этого пущены были в ход все пружины, начиная с дочери суфлера и кончая матерью режиссера. Увидя игру своей протее, все эти пружины чуть не лопнули от ужаса. Жена автора была трагична в самых комических местах пьесы и вызывала веселые взрывы смеха в лирических.

Вдобавок она обладала таким невероятным, неслыханным акцентом, что после первого же акта друзья театра хлынули к режиссеру с расспросами:

— Что это значит?

— Что это за акцент?

Режиссер сконфузился, помялся и ответил:

— Н-не знаю. Говорят, будто она молоканка.

Публика долго удивлялась, дирекция долго мучилась, как бы поделикатнее отобрать от нее роль, а молоканка сидела в своей уборной в позе отдыхающей Дузэ и говорила, улыбаясь мечтательно и грустно:

— Нет, не могу. Тяжело! Тяжело ежедневно кривляться в этой пошлой пьеске, повторять пошлые, бессмысленные фразы, размениваться на четвертаки глупого смеха для глупой публики! Я устала. Я хочу отдохнуть душой. Я хочу... Я хочу наконец сыграть Гедду Габлер. Пора! Пора!

Другая была маленькой начинающей актрисой. Играла толпу, и самой ответственной ее ролью была горничная, подающая письмо, да не просто, а со словами:

— Барыня! Вам письмо.

Роль эту разработала она так тщательно, что после второго же представления ее выгнали.

Выходила она с письмом не прямо, а как-то подкрадывалась боком. Слово «барыня» произносила свистящим шепотом. Потом делала ликующее ударение на слове «вам» и наконец грустное и недоуменное «письмо!».

Она объяснила потом театральному парикмахеру (больше никто не хотел ее слушать), что поняла

и воплотила в своей роли тип сознательной горничной, которой давно режет ухо слово «барыня», которая подчеркивает слово «вам», как бы намекая на то, что и с нею следует обращаться тоже на «вы». «Письмо» она выговаривала с грустным недоумением, чтобы оттенить свое отношение к госпоже и показать, что считает последнюю слишком неразвитой для такого интеллигентного занятия, как корреспонденция.

Покидая театр, она сказала, что, в сущности, очень рада поскорее вырваться из этой душной атмосферы, где ее заваливали работой, не оставляя времени на изучение серьезной роли, к которой она себя готовила.

— Что же это за серьезная роль? — удивлялись собеседники.

— Как что за роль? — удивилась и она. — Гедда Габлер. Чего вы глаза выпучили?

Третья актриса, вынашивавшая в себе зерно Ибсена, была хорошая бытовая актриса, отчасти комическая старуха, мастерски игравшая теток, старых дев, тещ и неблагородных матерей.

Сидела она как-то в свободный вечер в театре и смотрела Гедду Габлер в исполнении иностранной гастролерши.

— Н-нет, не нравится она мне, — сказала актриса в антракте. — Не поняла она Гедды. Совсем не тот рисунок роли. Она играет так. — Тут актриса начертила в воздухе какие-то круги. — А я ее сыграла бы вот так.

И она быстро завертела рукой зигзаги и острые углы.

— Понимаете? Сначала так, потом вот так, потом поворот, потом срыв вверх, потом подъем в бездну. Понимаете?

Сначала думали, что она шутит, хлопали ее по плечу и приговаривали:

— А и затейница вы, Марья Ивановна! Никто лучше вас не придумает. Захотите — мертвого расшепшите!

Но она и не думала смешить. До смеху ли тут! Она затеяла открыть собственный театр, чтобы сыграть Гедду Габлер.

— Одна беда — под ложечкой у меня взбухло. Как кислого поем — ни одно платье не лезет. Печень, что ли. Придется принять меры.

Приняла. Поехала в Карлсбад, подтянулась, вернулась, стала устраивать театр.

— Ничего, теперь под ложечкой все в порядке, будет вам настоящая Гедда. Подъем в бездну, срыв вверх, роковой зигзаг, — понимаете?

И она чертила в воздухе сгибы и срывы. Все так к этому привыкли, что, как увидят издали бестолково махающие руки, кланяются и здороваются, уверенные, что это непременно она.

А она все говорила, все показывала, захлебывалась, от спешки стала вместо «Гедда Габлер» говорить «Гадда Геблер» вплоть до первого спектакля.

Провалилась она так эффектно, что от треска своего провала сама словно оглохла. Но, очнувшись, забыла все и открыла в Харькове самый безмятежный шляпный магазин.

Если бы судьба покровительствовала развитию модной промышленности, она, не будь глупа, на каж-

дую жаждущую душу ассигновала бы возможность осуществить свою Гедду. И с небольшой затратой принесла бы большую пользу модничающему человечеству.

КРЕПОСТНАЯ ДУША

Старая нянька помирала уже десятый год в усадьбе помещиков Двучасовых.

На сей предмет в летнее время предоставлялась в ее распоряжение маленькая деревянная кухонька при молочной, где творог парили, а зимой, когда господа уезжали в город, нянька перебиралась в коридор и помирала в углу, за шкапом, на собственном сундуке, вплоть до весны.

Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька проветривала свою смертную одежду: полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голубой пояс, тканый заупокойною молитвой, и кипарисовый крестик.

Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахивала прутом мошкарку, чтобы не села на смертную одежду, и говорила сама с собой, какие бывают сухие кладбища, какие сырые и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтобы по ночам половицы не скрипели.

Прислуга хихикала:

— Смотри, нянюшка, рубаху-то! Пожалуй, больше двадцати лет не продержится! А? Придется новую шить! А?

Зимой оставалась она одна-одинешенька в пустом, гулком доме, сидела целый день в темном углу,

за шкапом, а вечером выползала в кухню, с бабой-караулкой чаю попить.

Придет, сядет и начинает с полфразы длинный бестолковый рассказ. Баба-караулка сначала долго добивается понять, в чем дело, потом плюнет и успокоится.

— ...К старухиной невестке, — шамкает нянька, напряживая губы, чтобы не вывалился засунутый в рот крошечный огрызок сахара. — И говорит: «Каравай печь хочу, пусть Матрена кардамону даст». А какой у меня кардамон? Я говорю: «Измывайтесь над кем другим, а Матрену оставьте в покое». Прикусила язык!

— Да про кого вы, нянюшка, а? — допытывается баба.

Но нянька не слышит.

— Чего бояться? Лампадку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась: «Батюшка-душегуб, на молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка». Он меня и не тронет.

— Это у душегуба волюшка-то святая? — удивляется баба. — И чего только не наплетут старухи.

— Таракан, вон, за мной ходит: шу-шу-шу!... И чего ходит? Позапрошлой ночью, слышу, половица в диванной скрип-скрип. Лежу, сплю не сплю, одним глазком все вижу. Приходит барин-покойник, сердитый-сердитый, туфлями шлепает. Прошел в столовую часы заводить: тырр... тырр... Стрелки пальчиком равняет. Куда, думаю, теперь пойдет? А он туфлями шлепает, сердитый. «Нехорошо, — говорит, — нехорошо!» И ушел опять через диванную, видно, к себе в кабинет. А таракан мне около

уха: шу-шу-шу... Ладно! Не шукай. Сама все слышала.

— Ой, и что это вы, нянюшка, к ночи такое... Рази и вправду приходил барин-то?

— Не верят! Нынешние люди ничему не верят. Привезли из Питера лакея, а он нож востреёмверху положил... «Это, — я говорю, — ты что, мерзавец, делаешь? Да ты знаешь, что ты нечистину радость строишь?» А он как заржет! Ничему нонеча не верят. А старый барин отчего помер? Я им сразу сказала.

Привезли к детям немку. Я это в комнату вхожу, смотрю, — а немка какие-то иголки просыпала да и подбирает. «Это — говорю — ты что тут делаешь?» А у ей лицо нехорошее, и какое-то слово мне такое нерусское говорит. Я тогда же к барыне пошла и все рассказала, и про нерусское слово, и про все. А барыня только смеется. Ну и что же? Через два дня старый барин и захворай. Колет его со всех сторон. Я-то знаю, что его колет. Говорю барыне: «Стребуйте с немки ейные иголки, да в купоросе их растворите, да дайте вы этого купоросу барину выпить, так у него все колотье наружу иголками вылезет». Нет, не поверила. Вот и помер. Рази господа поверят? Сколько их видела, — все такие. Стану их личики вспоминать, так, может, рож пятьсот вспомню, — и все такие.

Налей еще чайку-то!

Ишь, таракан по столу бежит. Был у наших господ повар, хороший, дорого за него барин заплатил, — готового купил, так повар этот такой был злоющий, что нарочно нам в пироги тараканов запекал. Плачем, а сказать не смеем, потому барин его

очень любил. Вот, говеем на Страшной, скоро Пасха, — думаем, напечет он нам куличей с тараканами. Плачем. Пошли на исповедь, а одна наша девка и скажи попу, на духу, про повара-то. Пошел и повар к исповеди. Выходит от попа, а на нем лица нет. Серый весь и дрожит. Нам ни слова не сказал, куличи спек, все хорошо, а на утреню и пропал. Искали-искали, как в воду канул. Сели разговляться, священный кулич взрезали, ан в ем поваров мертвый палец! Вот те и тараканы!... Налей чайку!

...Платочек вышивали два года; четыре кружевницы иголочками плели, каждая свой уголок. Барыня наша к государыне пресмыкнуться должна была, так вот, платочек в подарок, чтоб дочку ейнюю в институт взяли. Ну и взяли. Барыня толковая была. Никогда девку по правой руке не ударит. Потому все мы у ей кружевницы были. Ну а левую руку всю, бывало, исщиплет; у каждой левая ручка, как ситчик, рябенькая. А и все девки кособокие были. С пяти лет за пяльцы сажали, — правое плечо вверх, а левое — вниз, левой рукой снизу иголку подтыкиваешь.

Старый барин сурьезный был человек. Тихо сидел, гарусом туфли вышивал. И барыне вышил, и тетеньке, и всякой родне. А барышня институт кончила, — он ей целые ширмы вышил. Серьезный был. А барчук шутить любил. Приехал из полка, выволок Стешку ночью за косу в столовую и кричит: «Пой мне, красавица, волжские песни». Стешка-то о двенадцатом годку была, дура, испугалась, да бряк об пол. Два дня в себя не приходила. Что смеху-то было. Хю-хю! Шутник. А как стали у меня глаза болеть, отдала меня барыня барчуковой жене в нянь-

ки. Хорошая была барчукова-то жена. Нежная. Все на цыпочках ходила, как ангел! Тоненькая. Людмила Петровна.

А сам-то уж очень людей обижал. Зверь был. Как бить начнет, сам весь зайдет.

А к барыне ейный родственничек ходил. Тихоня такой. Все что-то вместе плачут. И письма ей писал. Письма-то она мне прятать давала, потому я неграмотная, сама не прочту и людям не покажу. Доверяла мне.

Очень ее все любили. Одна наша заступница была. Бывало, за каждого последнего мужика у зверя в ногах вывалиется. Очень любили.

Вот раз собрался барин вечером в гости. А кучер, Наум был, и говорит мне: «Смотри, нянька, я не я буду, коли сегодня десять целковых не заработаю». Поехали. К барыне тихоня пришел. Сидят в столовой, плачут. А кучер Наум барину-то и скажи: «Нам бы, барин, теперь домой вернуться, посмотреть бы, как у нас вечера справляются». Вернулся барин, зверь-зверем. Посуду всю перебил, а сам-то тихоня убежать успел. Слышу я из детской, как барин раскомаривает. Ну, думаю, — знать, пришло наше время покаянное. Выждала, чтобы поуспокоился, взяла барынины письма, побежала к барину, да и в ноги. Так, мол, и так. Супротив барина моего я, мол, не потатчица. И-и, господи! Что тут было! Барыня-то, ангел-то наш, и году не протянула. Очень он ее письмами-то этими донимал. А кучеру Науму лоб забрил. Что смеху-то было, хю-хю-хю! Вот те и десять целковых.

Померла моя барыня, светлая ты моя Людмила Петровна, заступница. Верно, и в рай-то вошла

на цыпочках. Вот, помру я теперь, оденут тело мое в одежду смертную, положат в могилку на кладбище, а сама я в рай пойду, и встретит меня там моя барыня нежная, и перед Богом заступится. «Вот, — скажет, — Господи, пришла нянька Матрена, верная моя раба, крепостная душа, преданная. Дай ты ей, Господи, местишко под пазушкой, чтобы душенька ейная в тепле распарилась, в довольствии накуражилась! Аминь!»

ИСПОВЕДЬ

Первая неделя Великого поста.

Петь не позволяют, прыгать тоже нельзя.

Куклы убраны в шкаф и смотрят через стекло испуганными круглыми глазами на мои муки: сегодня, в четыре часа, меня в первый раз поведут на исповедь.

Нянька завтракает, — ест гороховый кисель с постным маслом, — блюдо очень вкусное на вид и очень скверное на вкус. Я уже много раз просила попробовать, все надеясь, что авось теперь оно мне понравится.

На душе у меня очень худо. Боюсь. Вчера нянька, убеждая меня не рвать чулки на коленках, не ездить верхом на стульях и вообще бросить разнузданный образ жизни, прибавила:

— Вот ужо пойдешь к исповеди, запряжет тебя поп в телегу да заставит вокруг церкви возить.

Я, конечно, не уронила своего достоинства и сказала, что для меня это сущие пустяки, — возить так возить, но стало мне очень тревожно.

Чулки и верховая езда — я это прекрасно понимала — невелики грехи, но водилась за мной штучка и похуже — самый настоящий грех, который даже в заповедях запрещен: кража.

Случился этот грех очень просто. Подошла я к нянькиному окошку, гляжу, а на окошке какая-то круглая ватрушка, а сбоку из нее варенье сквозит. Захотелось посмотреть, неужели же она вся вареньем набита. Ну и посмотрела. К концу осмотра, когда дело уже окончательно выяснилось, от ватрушки оставался такой маленький огрызок, что ему даже некрасиво было на окошке лежать. Пришлось доесть насильно.

Нянька долго удивлялась, куда могла деться ватрушка, а я сидела тихо за столиком и низала бисерное колечко. Только когда нянькина мысль, ударившись о тупик, вдруг наскочила на меня, я решила направить ее на ложный путь.

— Я думаю, нянюшка, что это ее домовый съел.

С домовым у няньки были старые счеты. Он частенько рассыпал ее иголки, плевал в печку, чтобы дрова не разгорались, а то и еще обиднее: подсунет ей наперсток под самый нос, а глаза отведет, и ползает нянька, шарит и под постелью, и под комодом и не может найти наперстка, пока домовый всласть не наиграется.

История с ватрушкой так и осталась невыясненной, и сама я давно погребла ее под пластами новых преступлений более мелкого калибра, но теперь, перед исповедью, вспомнила все и ужаснулась.

Главное, было ужасно, что я не только украдала, но еще и свалила грех на другого, на ни в чем не повинного домового. Все утро предавалась я печальным

размышлениям, а после завтрака пришла шестипалая баба-судомойка и поклонилась няньке в пояс три раза, приговаривая:

— Простите раз! Простите два! Простите три!

Потом подошла с тем же и ко мне.

Нянька ответила: «Бог простит». Я поняла, что и мне нужно ответить так же, да уж очень чего-то стыдно стало. А когда нянька укорила меня за молчание, я придумала очень неудачное оправдание:

— Не могу я ей отвечать.

— Это отчего же не можешь-то?

— Оттого, что я есть хочу.

Вышло так глупо, что я тут же всплакнула, чтобы хоть слезами сдобрить немножко эту ерунду.

Перед тем как идти в церковь, повели меня в классную комнату и велели с христианским смирением попросить прощения у старших сестер и их гувернантки.

Гувернантка, толстая усатая француженка, по многим причинам не любившая, когда я появлялась в ее владениях, спросила строго:

— А вам что здесь угодно?

Я сделала реверанс и сказала, забивая в рот три пальца, чтобы не так было совестно.

— Madame, pardonnez moi, je vous en prie¹.

Гувернантка покрутила глазами, стараясь понять, что я натворила и за что нужно меня бранить; но когда сестра объяснила, в чем дело, она вдруг впала в чисто французское умиление и, подняв руки, воскликнула:

— Oh! Oh! Je te pardonne, ma fille².

¹ Сударыня, простите меня, прошу вас (*фр.*).

² О! О! Я тебя прощаю, дочь моя (*фр.*).

Это было уже слишком! Она, чужая гувернантка, власть которой, строго ограниченная, могла простираться только на старших сестер, и вдруг смеет говорить мне «ты», да еще называть дочерью.

Смирение мое мгновенно сменилось самым бешеным негодованием.

— Как ты смеешь, дурища, говорить мне «ты»?

В церкви было пусто.

Темные старухи лепились у стенки, гулко вздыхали, маленькие, горбатенькие, семенили суетливо за сторожем, расспрашивали что-то шлепающим беззубым шепотом, звякали медяками.

Вот кто-то спешно прошел, застучав каблуками, мимо коврика по каменным плитам; отдалось, загудело, пронеслось стоном к куполу.

«Грешная! Грешная!» — думаю я и слышу, как стучит что-то в левом виске, и вижу, как дрожит согнувшаяся от теплой моей руки свечка.

«Грешная! Грешная! Как признаюсь? Как расскажу? И разве можно все это рассказывать? Батюшка и слушать не станет».

Стою у самой ширмочки. Чей-то тихий и мирный голос доносится оттуда. Не то батюшка говорит, не то высокий бородач, стоявший передо мной в очереди.

«Сейчас мне идти! Ах, хоть бы тот подольше поисповедовался. Пусть бы у него было много грехов. Ведь бывают люди, например разбойники, у которых так много грехов, что за целую жизнь не расскажешь. Он все будет каяться, каяться, а я за это время и умру».

Но тут мне приходит в голову, что умереть без покаяния тоже нехорошо, и как быть — не знаю. За

ширмой слышится шорох, потом шаги. Выходит высокий бородач. Я едва успеваю удивиться на его спокойный вид, как меня подталкивают к ширме, и вот я уже стою перед священником.

От страха забыла все. Думаю — только бы не заплакать.

Слышу вопросы, понимаю плохо, отвечаю сама не знаю что и чувствую, как губы опускаются вниз — только бы не заплакать!

— Сестер не обижаешь?

— Грешная, обижаю.

— А братьев?

— Братьев?

Ну как я скажу, что и братьев обижаю. Ведь это же ужас! Лучше молчать. Да и брат у меня всего один, да и тот меня бил линейкой по голове за то, что я не умела говорить, как у них в корпусе, «здравия желаю!».

Лучше уж помолчать.

Пахнет ладаном, торжественным и ласковым. Батюшка говорит тихо, не бранит, не попрекает. Как быть насчет нянькиной ватрушки? Неужели не скажу? А если сказать, то как сказать? Какими словами?

Нет, не скажу.

На высоком столике выше моего носа блестит что-то. Это, верно, крест.

Как стану я при кресте рассказывать про ватрушку? Так стыдно, так просто и некрасиво.

Вот еще спросил что-то священник. Я уже и не слышу что. Вот он пригнул мне голову, покрывает ее чем-то.

— Батюшка! Батюшка! Я нянину ватрушку съела. Это я съела. Сама съела, а на другого свалила.

Дрожу вся и уж не боюсь, что заплачу, уж ничего не боюсь.

Со мной все теперь кончено. Был человек, и нет его!

Щекочет что-то щеку, задело уголок рта. Соленое. А что же батюшка молчит?

— Нехорошо так поступать. Не следует!

Еще говорит, не слышу что.

Выхожу из-за ширмы.

Встать бы теперь перед иконой на колени, плакать, плакать и умереть. Теперь хорошо умереть, когда во всем покаялась.

Но вот подходит нянька. Лицо у нее будничное, всегдашнее. Чего она смотрит? Еще расскажет дома, что я плакала, а потом сестры дразнить станут.

Я отвертываюсь, крепко тру платком глаза и нос.

— И не думала плакать. Чего ради?

ЯВДОХА

А. Д. Нюренбергу

В воскресенье Трифон, мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо.

— От сына з вармии.

Старуха, тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала.

— А може, и не мне?

— Почтарь казал — Явдохе лесниковой. Бери. От сына з вармии.

Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями.

— А ты почитай, може, и не мне.

Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его.

— Та ж я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут.

Так и уехал.

Явдоха постояла еще около хатки, поморгала.

Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами — осколышками. А старуха — длинная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину — не оставаться же, мол, на улице.

Поморгала Явдоха, влезла в хатку и заткнула письмо за черный образ.

Потом пошла к кабану.

Кабан жил в дырявой пуньке, прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку.

И думала любовно:

«Чешись, чешись! Вот слопают тебя на Божье нарощенье, так уж тогда не почешешься».

И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщевую рукавицу и жала старым, истолченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге.

Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее, налаженное хозяйство и все, славу Богу, как следует.

Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал «з вармии». Значит, забрали, значит, на войне. Значит, денег к празднику не прийдет. Значит, хлеба не будет.

Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала:

— Сын у меня Панас. Прислал письмо з вармии. После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами.

Встала старуха, посмотрела в щелку — идут солдаты — много-много, серые, тихие, молчат. «Куда? что? чего молчат? чего тихие?»

Жутко стало. Легла, с головой накрылась, а как солнце встало, собралась в село.

Вышла, длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога, липкая, вязкая, была словно ступой истолчена, и трава придорожная к земле прибита.

— Подыптали кабанову крапивку. Усе подыптали!

Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст.

На селе праздник был: плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, Хроменкова сына. Сам Никанор на войну шел, а старикам Хроменкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганке венок.

В хате у Ганки душно. Пахнет кислым хлебом и кислой овчиной.

Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню.

Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбита, смята в тесной хате, гудит, бьется о малюсенькие,

заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. А столпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует.

— Гой! Гэй! Го-о-о! Гой! Гэй! Го-о-о!

Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит будто «Гой-гей-го-о-о!». Уж очень гудят.

Потискалась Явдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее.

— У меня сын Панас, — сказала Явдоха. — Сын письмо прислал з вармии.

Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала: уж очень девки гудели.

Явдоха стала ждать. Примостилась в уголочке.

Вдруг девки замолчали — сразу, точно подавились, и у самых дверей закрипела простуженным петухом скрипка, и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, а на середину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпяченными животами, в прямых, не суживающихся к талии, корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза.

Раздвинув толпу, вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который и рад бы встать, да не может.

Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все:

— Бабка Сахфея, поскачи! Бабка Сахфея, поскачи!

Небольшая старушонка в теплом платке, повязанном чалмой, сердито отмахивалась, трясла головой — ни за что не пойдет.

— И чего они к старой лезут? — удивлялись те, что не знали.

А те, что знали, кричали:

— Бабка Сахфея, поскачи!

И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, повернулась к образу.

— Ну ладно. Дайте у иконы попроситься.

Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза:

— Прости меня, Боже, прости меня, Боже, прости меня, Боже!

Повернулась, усмехнулась:

— Замолила грех.

Да и было что замаливать! Как подбоченилась, как подмигнула, как головой вздернула, и — их!

Выскочил долговязый парень, закремделая лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит. На Сахфею смотрят. Вот сейчас и не пляшет она, а только стоит, ждет своей череды, ждет, пока парень до нее допрыгает. Пляшет-то, значит, парень, а она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кремделает лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо — только на нее. А вот дошел черед — повернулась, взметнулась и пошла, — и — их!

Знала старуха, что делала, как перед иконой «прощалась». Уж за такой грех строго на том свете спросится.

А Явдоха сидела в уголку затиснутая, ничего ей видно не было, да и не нужно видеть, чего там!

Отдохнула, пробралась в сенцы.

В сенцах стоял жених Никифор и дразнил щепкой собаку.

— Някифор! Ты, може, грамотный. От мне сын Панас з вармии письмо прислал.

Жених помялся немного — не хотелось прерывать интересное дело. Помялся, бросил щепку, взял старухино письмо. Надорвал уголок, заглянул глазом, потом осторожно засунул палец и разорвал конверт.

— Это действительно письмо. Слушай, что ли: «Тетеньке Явдокии низко кланяюсь и от Господа здоровья. Мы все идем походом, все идем, очень устали. Но не очень. Сын ваш Апанасий приказал долго жить. Может быть, он ранен, но ты не надейся, потому что он приказал долго жить. Известный вам Филипп Мельников». Все.

— Пилип? — переспросила старуха.

— Пилип.

Потом подумала и опять спросила:

— Ранен-то кто? Пилип?

— А кто его знает. Может, и Пилип. Где там разберешь. Народу много набили. Война.

— Война, — соглашалась старуха. — А може, ты еще считаешь?

— Теперь нема часу. Приходи в воскресенье, опять почитаю.

— Ин приду. Приду в воскресенье.

Спрятала письмо за пазуху, сунула нос в избу.

— Ну чаво? — отстранил ее локтем парень, тот самый, что плясал, как урод-калека. — Чаво?

— От сына, от Панаса, письмо у меня з вармии. Пилип Мельников чи ранен, чи не ранен. Народу много набили. Война.

А вечером подходила к своей хатке, скользя по расшлепанной слизкой дороге, и думала две думы — печальную и спокойную.

Печальная была:

«Подыптали кабанову крапивку».

А спокойная:

«Прислал Панас письмо, пришлет и денег. Пришлет денег, куплю хлеба».

А больше ничего не было.

ДЭЗИ

Дэзи Агрикова с большим трудом попала в лазарет.

Во-первых, очень трудно было устроиться на курсы сестер милосердия. Везде такая масса народа, и все как-то успевали записаться раньше Дэзи Агриковой, и везде был полный комплект, когда она приходила.

Наконец нашлись какие-то курсы, куда она попала вовремя. Но принимавшая запись барышня с флюсом предупредила честно и строго:

— Прав никаких. Определенных часов для лекций нет.

Дэзи все-таки записалась и стала ходить.

Проходив недели четыре и не получив ни прав, ни свидетельства, Дэзи Агрикова стала хлопотать о поступлении в лазарет.

Было трудно. Никуда не брали. Везде переполнено.

А знакомые дразнили вопросами:

— Вы где работаете? Я в N-ском лазарете. Полтораста раненых. Масса работы. Я на лучшем счету.

— Вы в каком лазарете? Как ни в каком? Да что вы! Теперь все в лазарете — и княжна Кукина, и баронесса Шмук.

— Вы не собираетесь на передовые позиции? Я собираюсь. Теперь все собираются — и княжна Шмукина, и баронесса Кук.

Дэзи Агрикова стала врать. Стала говорить, что работает, а где, это секрет, и что едет на передовые позиции, а когда — секрет и куда — секрет.

Но потихоньку плакала.

Было как-то неловко. Неприлично.

Чувствовала себя, как купеческая невеста, не играющая на рояле.

Приходил Вово Бэк и шепелявил, неумело затыкая под бровь монокль:

— Неужели вы еще не работаете в лазарете? Теперь необходимо работать в лазарете. Все дамы из высшего общества... *C'est très bien vu*¹. И вам, наверное, очень пойдет костюм сестры.

Дэзи хлопотала, нажимала все пружины, и наконец дело ее устроилось. И устроилось очень просто: нужно было только попросить баронессу Кук, та попросила Павла Андреича, Павел Андреич попросил княжну Шмукину, княжна Шмукина сказала Веретьеву, Веретьев — княжне Кукиной, княжна Кукина — баронессе Шмук, а баронесса Шмук попроси-

¹ Это очень одобрили бы в обществе (*фр.*).

ла Владимира Николаевича, который ни более ни менее как друг, если не детства, то среднего возраста, самой Марьи Петровны.

Таким образом Дэзи Агрикова устроилась в лазарете.

Волновалась страшно: какая косынка больше идет — круглая или прямая? Выпускать челку или только локончики у висков?

Пришла она в лазарет утром, искала глазами, кому бы сказать о том, что она пришла сюда работать «по просьбе самой Марьи Петровны», но никто на нее не смотрел, и никому не было до нее дела. Все были заняты.

Вот отворилась дверь, на которой прибита дощечка: «Перевязочная. Вход воспрещен». Выглянула плотная женщина с засученными рукавами и крестом на груди.

— Вы что?

Дэзи подтянула губки и собралась рассказать про Шмук, Кук и Марию Петровну, но ее перебили.

— Так идите же скорее помогать. Там рук не хватает.

Дэзи вошла в перевязочную.

По стене на табуретках сидели раненые, кто вытянув забинтованную руку, кто — ногу. Сидели молча.

На длинном столе лежал боком очень худой бородатый солдат. Доктор, низко нагнувшись над его бедром, вертел каким-то блестящим инструментом. Лицо у доктора было бледное, губы стиснуты, и только на одной щеке горело яркое пятно.

— Подберите патлы и вымойте руки! — быстро сказала Дэзи женщина с крестом.

Дэзи вспыхнула, но руки у нее словно сами поднялись и запрятали под косынку тщательно подвитые локончики.

— Умывальник в углу. Потом идите сюда скорее, держите ему ногу.

Дэзи держала ногу, над которой возился доктор. Она чувствовала, как дрожит эта нога мелкой дрожью страдания, видела капли пота на лбу доктора и красное пятно на его щеке.

Раненый не стонал, а только тяжело дышал и вдруг, слегка повернув голову, посмотрел на Дэзи.

— Спасибо, родная, спасибо, желанная, хорошо держишь. Так-то мне лучше, как ты держать стала.

Голос у него был слегка сдавленный, жалкий и ласковый; говорок на «о».

— Лежи тихо, лежи тихо! — прикрикнул доктор.

Дэзи смотрела, как доктор старался ухватить длинными щипцами что-то там в глубине раны.

— Там пуля? — робко спросила она.

— Пуля, — отвечал доктор. — Очень трудно извлечь.

И Дэзи долго держала эту тихо дрожащую страданием ногу, и, когда раненый охнул, она тихонько погладила его и шепнула:

— Ничего, ничего...

Каждое вздрагивание его она чувствовала и на каждое отвечала какою-то новой напряженной нежностью своей души, и, когда наконец, облегченно вздохнув, доктор показал ей на своей окровавленной ладони круглую черную пулю, она вся задрожала радостью и еле удержалась, чтобы не заплакать.

— Господи, счастье какое! Господи, счастье какое!

Потом, когда раненый уже лежал на своей койке, усталый, но довольный и спокойный оттого, что и страх, и страдания уже кончились, Дэзи подошла к нему и молча улыбнулась. Улыбнулся и он простой детской улыбкой серенького, рябенького, бородатого мужичонки.

— Это ты, желанная, ногу мне держала? Спасибо, родная. Очень мне от тебя легче стало, сестричка моя белая.

Дэзи позвали к телефону.

— Это очень хорошо, что вы в лазарете, — свистел в трубку Вово Бэк.

— *C'est très bien vu* в высшем обществе. Воображаю, как все раненые в вас влюбляются.

Дэзи, не отвечая, тихо повесила трубку и тихо, но решительно, словно навсегда, отошла от телефона.

Подошла к своему рябому мужичонке и, не поднимая глаз, словно по глазам мог бы он узнать, что она сейчас слышала, нагнулась к нему.

— Тебе хорошо?

— Спасибо, родная.

— Как тебя зовут?

— Митрий Ящиков.

— Спасибо тебе, Дмитрий, что тебе хорошо. Я сегодня счастливая, а я еще никогда не была... Это оттого, что тебе хорошо, такая счастливая.

И вдруг она смутилась, что, может быть, он не понимает ее.

Но он улыбался простой, детской улыбкой серенького, рябенького, бородатого мужичонки.

Улыбался и все понимал.

ВРЕМЯ

Это был отличный ресторан с шашлыками, пельменями, поросенком, осетриной и художественной программой. Художественная программа не ограничивалась одними русскими номерами: «Лапоточками», да «Бубличками», да «Очами черными». Среди исполнителей были негритянки, и мексиканки, и испанцы, и джентльмены неопределенно джазовского племени, певшие на всех языках малопонятные носовые слова, пошевеливая бедрами. Даже заведомо русские артисты, перекрестившись за кулисами, пели на бис по-французски и по-английски.

Танцевальные номера, позволявшие артистам не обнаруживать своей национальности, исполнялись дамами с самыми сверхъестественными именами: Такуза Мука, Рутуф Яй-яй, Экама Юя.

Были среди них смуглые, почти черные, экзотические женщины с длинными зелеными глазами. Были и розово-золотые блондинки, и огненно-рыжие, с коричневой кожей. Почти все они, вплоть до мулаток, были, конечно, русскими. С нашими талантами даже этого нетрудно достигнуть. «Сестра наша бедность» и не тому научит.

Обстановка в ресторане была шикарная. Именно это слово определяло ее лучше всего. Не роскошная, не пышная, не изысканная, а именно шикарная.

Цветные абажурчики, фонтанчики, вделанные в стены зеленые аквариумы с золотыми рыбками, ковры, потолок, расписанный непонятными штуками, среди которых угадывались то выпученный глаз, то задранная нога, то ананас, то кусок носа с прилипшим к нему моноклем, то рачий хвост. Сидящим

за столиками казалось, что все это валится им на голову, но, кажется, именно в этом и состояло задание художника.

Прислуга была вежливая, не говорила запоздавшим гостям:

— Обождите. Чего же переть, когда местов нету. Здесь не трамвай.

Ресторан посещался столько же иностранцами, сколько русскими. И часто видно было, как какой-нибудь француз или англичанин, уже, видимо, побывавший в этом заведении, приводил с собой друзей и с выражением лица фокусника, глотающего горящую паклю, опрокидывал в рот первую рюмку водки и, выпучив глаза, затыкал ее в горле пирожком. Приятели смотрели на него, как на отважного чудака, и, недоверчиво улыбаясь, нюхали свои рюмки.

Французы любят заказывать пирожки. Их почему-то веселит это слово, которое они выговаривают с ударением на «о». Это очень странно и необъяснимо. Во всех русских словах французы делают ударение, по свойству своего языка, на последнем слове. Во всех — кроме слова «пирожки».

За столиком сидели Вава фон Мерзен, Муся Ривен и Гогося Ливенский. Гогося был из высшего круга, хотя и дальней периферии; поэтому, несмотря на свои шестьдесят пять лет, продолжал отзываться на кличку Гогося.

Вава фон Мерзен, тоже давно выросшая в пожилую Варвару, в мелко завитых сухих букольках табачного цвета, так основательно прокуренных, что если их срезать и мелко порубить, то можно было бы набить ими трубку какого-нибудь невзыскательного шкипера дальнего плавания.

Муся Ривен была молоденькая, только что в первый раз разведенная деточка, грустная, сентиментальная и нежная, что не мешало ей хлопать водку рюмка за рюмкой, безрезультатно и незаметно ни для нее, ни для других.

Гогося был очаровательным собеседником. Он знал всех и обо всех говорил громко и много, изредка, в рискованных местах своей речи, переходя по русской привычке на французский язык, отчасти для того, чтобы «слуги не поняли», отчасти потому, что французское неприличие пикантно, а русское оскорбляет слух.

Гогося знал, в каком ресторане что именно надо заказывать, здоровался за руку со всеми метрдотелями, знал, как зовут повара, и помнил, что, где и когда съел.

Удачным номерам программы громко аплодировал и кричал барским баском:

— Спасибо, братец!

Или:

— Молодец, девчоночка!

Многих посетителей он знал, делал им приветственный жест, иногда гудел на весь зал:

— Comment ça va? Анна Петровна en bonne santé?¹

Словом, был чудесным клиентом, заполнявшим одной своей персоной зал на три четверти.

Напротив них, у другой стены, заняла столик интересная компания. Три дамы. Все три более чем пожилые. Попросту говоря — старухи.

Дирижировала всем делом небольшая, плотная, с головой, ввинченной прямо в бюст, без всякого на-

¹ Как дела? Анна Петровна здорова? (фр.)

мека на шею. Крупная бриллиантовая брошка упиралась в двойной подбородок. Седые, отлично причесанные волосы были прикрыты кокетливой черной шляпкой, щеки подпудрены розовой пудрой, очень скромно подрумяненный рот обнажал голубовато-фарфоровые зубки. Великолепная серебряная лисица пушилась выше ушей. Старуха была очень элегантна.

Две другие были мало интересны и, видимо, были нарядной старухой приглашены.

Выбирала она и вино и блюда очень тщательно, причем и приглашенные, очевидно «губа не дура», резко высказывали свое мнение и защищали позиции. За еду принялись дружно, с огнем настоящего темперамента. Пили толково и сосредоточенно. Быстро покраснелись. Главная старуха вся налилась, даже чуть-чуть посинела, и глаза у нее выпучились и постекленели. Но все три были в радостно-возбужденном настроении, как негры, только что освежавшие слона, когда радость требует продолжения пляски, а сытость валит на землю.

— Забавные старухи! — сказала Вава фон Мерзен, направив на веселую компанию свой лорнет.

— Да, — восторженно подхватил Гогося. — Счастливый возраст. Им уже не нужно сохранять линию, не нужно кого-то завоевывать, кому-то нравиться. При наличии денег и хорошего желудка это самый счастливый возраст. И самый беспечный. Больше уже не надо строить свою жизнь. Все готово.

— Посмотрите на эту, на главную, — сказала Муся Ривен, презрительно опустив уголки рта. — Прямо какая-то развеселая корова. Так и вижу, какая она была всю жизнь.

— Наверно, пожито отлично, — одобрительно сказал Гогося. — Живи и жить давай другим. Веселая, здоровая, богатая. Может быть, даже была недурна собой. Сейчас судить, конечно, трудно. Комок розового жира.

— Думаю, что была скупа, жадна и глупа, — встала Вава фон Мерзен. — Смотрите, как она ест, как пьет, чувственное животное.

— А все-таки кто-то ее, наверное, любил и даже женился на ней, — мечтательно протянула Муся Ривен.

— Просто женился кто-нибудь из-за денег. Ты всегда предполагаешь романтику, которой в жизни не бывает.

Беседу прервал Тюля Ровцын. Он был из той же периферии круга, что и Гогося, поэтому и сохранил до шестидесяти трех лет имя Тюли. Тюля тоже был мил и приятен, но беднее Гогоси и весь минорнее. Поболтав несколько минут, встал, огляделся и подошел к веселым старухам. Те обрадовались ему, как старому знакомому, и усадили его за свой стол.

Между тем программа шла своим чередом.

На эстраду вышел молодой человек, облизнулся, как кот, поевший курятинки, и под завывание и перебойное звяканье джаза исполнил каким-то умоляюще-бабьим воркованием английскую песенку. Слова песенки были сентиментальны и даже грустны, мотив однообразно уныл. Но джаз делал свое дело, не вникая в эти детали. И получалось, будто печальный господин плаксиво рассказывает о своих любовных неудачах, а какой-то сумасшедший разнузданно скачет, ревет, свистит и бьет плаксивого господина медным подносом по голове.

Потом под ту же музыку проплясали две испанки. Одна из них взвизгнула, убегая, что очень подняло настроение публики.

Потом вышел русский певец с французской фамилией. Спел сначала французский романс, потом — на бис — старый русский:

Твой кроткий раб, я встану на колени.
Я не борюсь с губительной судьбой,
Я на позор, на горечь унижений —
На все пойду за счастье быть с тобой.

— Слушайте! Слушайте! — вдруг насторожился Гогося. — Ах, сколько воспоминаний! Какая ужасная трагедия связана с этим романсом. Бедный Коля Изубов... Мария Николаевна Рутге... граф...

Когда мой взор твои глаза встречает,
Я весь мучительным восторгом обуян, —

томно выводил певец.

— Я всех их знал, — вспоминал Гогося. — Это романс Коли Изубова. Прелестная музыка. Он был очень талантлив. Морячок...

Так благодные звезды отражает
Бушующий бездонный океан, —

продолжал певец.

— Какая она была очаровательная! И Коля, и граф были в нее влюблены как сумасшедшие. И Коля вызвал графа на дуэль. Граф его и убил. Муж Марии Николаевны был тогда на Кавказе. Возвращается, а тут этот скандал, и Мария Николаевна ухаживает за умирающим Колей. Граф, видя, что Мария Николаевна все время при Коле, пускает себе пулю в лоб, оставя ей предсмертное письмо, что

он знал о ее любви к Коле. Письмо, конечно, попадает в руки мужа, и тот требует развода. Мария Николаевна страстно его любит и буквально ни в чем не виновата. Но Рутте ей не верит, берет назначение на Дальний Восток и бросает ее одну. Она в отчаянии, страдает безумно, хочет идти в монастырь. Через шесть лет муж вызывает ее к себе в Шанхай. Она летит туда, возрожденная. Застает его умирающим. Прожили вместе только два месяца. Все понял, все время любил ее одну и мучился. Вообще, это такая трагедия, что прямо удивляешься, как эта маленькая женщина смогла все это пережить. Тут я ее потерял из виду. Слышал только, что она вышла замуж и ее муж был убит на войне. Она, кажется, тоже погибла. Убита во время революции. Вот Тюля хорошо ее знал, даже страдал в свое время.

Бушу-у-ющий бездонный океан.

— Замечательная женщина! Таких теперь не бывает.

Вава фон Мерзен и Муся Ривен обиженно молчали.

— Интересные женщины бывают во всякую эпоху, — процедила наконец Вава фон Мерзен.

Но Гогося только насмешливо и добродушно хлопал ее по руке.

— Посмотрите, — сказала Муся, — ваш приятель говорит про вас со своими старухами.

Действительно, и Тюля, и его дамы смотрели прямо на Гогосю. Тюля встал и подошел к приятелю, а главная старуха кивала головой.

— Гогося! — сказал Тюля. — Мария Николаевна, оказывается, отлично тебя помнит. Я ей назвал

твое имя, и она сразу вспомнила и очень рада тебя видеть.

— Какая Мария Николаевна? — опешил Гогося.

— Нелогина. Ну, бывшая Рутте. Неужто забыл?

— Господи! — всколыхнулся Гогося. — Ведь только что о ней говорили!.. Да где же она?

— Идем к ней на минутку, — торопил Тюля. — Твои милые дамы простят.

Гогося вскочил, удивленно озираясь:

— Да где же она?

— Да вон, я сейчас с ней сидел... Веду, веду! — закричал он.

И главная старуха закивала головой и, весело раздвинув крепкие толстые щеки подмазанным ртом, приветливо блеснула ровным рядом голубых фарфоровых зубов.

О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

Днем шел дождь. В саду сыро.

Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сен-Жермена и Вирофле. Эта даль отсюда, с нашей высокой лесной горы, кажется океаном, и мы различаем фонарики мола, вспышки маяка, сигнальные свету кораблей. Иллюзия полная.

Тихо.

Через открытые двери салона слушаем последние тоскливо-страстные аккорды «Умиряющего лебедя», которые из какой-то нездешней страны принесли нам «радио».

И снова тихо.

Сидим в полутьме, красным глазком подымается, вспыхивает огонек сигары.

— Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед. Мы ведь не поставили рекорда дожить до ста лет, — сказал в полутьме баритон.

— А Рокфеллер молчит?

— Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет. Теперь ему девяносто три. И всегда приглашает гостей к обеду.

— Ну а как же они?

— Тоже молчат.

— Эдакое дурачье!

— Почему?

— Потому что надеются. Если бы бедный человек вздумал молчать для пищеварения, все бы решили, что с таким дураком и знакомства водить нельзя. А кормит он их, наверное, какой-нибудь гигиенической морковкой?

— Ну конечно. Причем жует каждый кусок не меньше шестидесяти раз.

— Эдакий нахал!

— Поговорим лучше о чем-нибудь аппетитном. Петроний, расскажите нам какое-нибудь ваше приключение.

Сигара вспыхнула, и тот, кого здесь прозвали Петронием за гетры и галстуки в тон костюма, процедил ленивым голосом:

— Ну что ж — извольте. О чем?

— Что-нибудь о вечной любви, — звонко сказал женский голос. — Вы когда-нибудь встречали вечную любовь?

— Ну конечно. Только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные.

— Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай.

— Один случай? Их такое множество, что прямо выбрать трудно.

— И все вечные?

— Все вечные. Ну вот, например, могу вам рассказать одно маленькое вагонное приключение. Дело было, конечно, давно. О тех, которые были недавно, рассказывать не принято. Так вот, было это во времена доисторические, то есть до войны. Ехал я из Харькова в Москву. Ехать долго, скучно, но человек я добрый, пожалела меня судьба и послала на маленькой станции прехорошенькую спутницу. Смотрю — строгая, на меня не глядит, читает книжку, конфетки грызет. Ну, в конце концов все-таки разговорились. Очень, действительно, строгая оказалась дама. Чуть не с первой фразы объявила мне, что любит своего мужа вечной любовью, до гроба, аминь.

Ну что же, думаю, это знак хороший. Представьте себе, что вы в джунглях встречаете тигра. Вы дрогнули и усомнились в своем охотничьем искусстве и в своих силах. И вдруг тигр поджал хвост, залез за куст и глаза зажмурил. Значит, струсил. Ясно. Так вот эта любовь до гроба и была тем кустом, за которым моя дама сразу же спряталась.

Ну, раз боится, нужно действовать осторожно.

— Да, говорю, сударыня, верю и преклоняюсь. И для чего, скажите, нам жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас непостоянство в любви. Сегодня романчик с одной, завтра — с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, но прямо даже неприятно. Столько хлопот, передряг. То имя перепутаешь — а ведь они обидчивые все, эти «предметы любви». Назови нечаянно Манечку Сонечкой,

так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь. Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а «новенькая» получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще, все это ужасно, хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только понаслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась.

Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами».

— Мы с вами понимаем, мы с вами верим.

Ну и я, конечно, «мы с вами», но все в самых почтительных тонах, глаза опущены, в голосе тихая нежность, — словом, «работаю шестым номером».

К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой, предложил вместе позавтракать.

За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда — очень уж она много про мужа говорила, все «мой Коля, мой Коля», и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее не достоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку.

Кстати, о руке — руку я у нее уже целовал вполне беспрепятственно, и сколько угодно, и как угодно.

И вот подъезжаем мы к Туле, и вдруг меня осенило:

— Слушайте, дорогая! Вылезем скорее, останемся до следующего поезда! Умоляю! Скорее!

Она растерялась:

— А что же мы тут будем делать?

— Как — что делать? — кричу я, весь в порыве вдохновения. — Поедем на могилу Толстого. Да, да! Священная обязанность каждого культурного человека.

— Эй, носильщик!

Она еще больше растерялась.

— Так вы говорите... культурная обязанность... священного человека...

А сама тащит с полки картонку.

Только успели выскочить, поезд тронулся.

— Как же Коля? Ведь он же встречать выедет.

— А Коле, говорю, мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом.

— А вдруг он...

— Ну есть о чем толковать! Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест. Посетить могилу великого старца в дни общего безверия и ниспровержения столпов.

Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил носильщика договорить какого-нибудь получше лихача, что ли, чтоб приятно было прокатиться.

Носильщик ухмыльнулся.

— Понимаем, — говорит. — Потрафить можно.

И так, бестия, потрафил, что я даже ахнул: тройку с бубенцами, точно на Масленицу.

Ну что ж, тем лучше.

Поехали.

Проехали Козлову Засеку, я ямщику говорю:

— Может, лучше бубенчики-то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем.

А он и ухом не ведет.

— Это, говорит, у нас без внимания. Запрету нет и наказа нет, кто как может, так и ездит.

Посмотрели на могилу, почитали на ограде надписи поклонников:

«Были Толя и Мура», «Были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова». «Люблю Марию Сергеевну Абиносову. Евгений Лукин». «М. Д. и К. В. разби-ли харю Кузьме Вострухину».

Ну и разные рисунки — сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя.

Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад.

До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан, я спросил отдельный кабинет— «ну к чему, говорю, нам показываться. Еще встретим знакомых, каких-нибудь недоразвившихся пошляков, не понимающих культурных запросов духа».

Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, дамочка моя говорит:

— На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его, и чем скорее, тем лучше.

— Дорогая! — закричал я. — Именно — чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра, утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд.

— А муж?

— А муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое.

— И по-вашему, не надо Коле ничего говорить?
— Коле-то? Разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить.

Рассказчик замолчал.

— Ну и что же дальше? — спросил женский голос.

Рассказчик вздохнул.

— Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму:

«Владимир, возвращайся немедленно».

Подпись: «Жена».

— Поверила?

— Поверила. Очень сердилась. Но я сказал: «Дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечною любовью. Будем уважать ее чувство». Вот и все.

— Пора спать, господа, — сказал кто-то.

— Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г-ч, может быть, вы что-нибудь знаете?

— Я? О вечной любви? Знаю маленькую историю. Совсем коротенькую. Был у меня на ферме голубь, и попросила я слугу моего, поляка, привезти для голубя голубку из Польши. Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела — видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя.

— Tout comme chez nous¹, — вставил кто-то из слушателей.

— Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно, зима, а крылья у го-

¹ Всё как у нас (фр.).

лубя короче, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.

— Вот и все? Ну, пойдете спать.

— Н-да, — сказал кто-то, зевая. — Это птица — насекомое, то есть я хотел сказать — низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жить до ста лет. Правда — чудесно?

ЖЕНИХ

По вечерам, возвратясь со службы, Бульбезов любил позаняться.

Занятие у него было особое: он писал обличающие письма — либо в редакцию какой-нибудь газеты, либо прямо самому автору не угодившей ему статьи.

Писал грозно.

«Милостивый государь!

Имел вчера неудовольствие прочесть вашу очередную брехню. В вашем „историческом“ очерке вы пишете: „От слов Дантона словно электрический ток пробежал по собранию“.

Спешу довести до вашего сведения, что во время французской революции электричество еще не

было открыто, так что электрический ток никак не мог пробежать. Это не мешало бы вам знать, раз вы имеете дерзость и самомнение братья за перо и всех поучать.

Илья Б—»

Или такое:

«Милостивый государь, господин редактор!

Обратите внимание на статьи вашего научного обозревателя. В номере шестьдесят втором вашей уважаемой газеты сей развязный субъект со свойственной ему беззастенчивостью рассуждает о разуме муравья. Но где же в таком случае у муравья череп? Я лично такового не видал, хотя и приходилось жить в деревне. Все это противоречит здравому смыслу.

Читатель, но не почитатель

Илья Б—»

Доставалось от него не только современным писателям, но и классикам.

«Милостивый государь, господин редактор, — писал он. — Разрешите через посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание общественного мнения на писания прославленного Льва Толстого. В своем сочинении „Война и мир“, во второй части, в главе четвертой, знаменитый граф пишет:

„Алпатыч, приехав вечером 4 августа в Смоленск, остановился за Днепром в Гаченском предместье на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов тридцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал тор-

говать и теперь имел дом, постоянный двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный, сорокалетний мужик с толстыми губами и т. д.“

Итак — заметьте: сорокалетний мужик тридцать лет тому назад купил роццу и начал торговать. Значит, мужику было тогда ровно десять лет. Считаю это клеветой на русский народ. И почему если это выдумал граф Толстой, то все должны преклоняться, а если так напишет какой-нибудь неграф и нелев, так его и печатать не станут?

Это не демократично.

И. Б.»

Письма эти тщательно переписывались, причем копию Бульбезов оставлял себе, нумеровал и прятал.

К занятиям своим относился он очень серьезно и никогда не позволял себе потратить вечер на синема или кафе, как делают это всякие лодыри.

— Пока есть силы работать — работаю.

Как это случилось — неизвестно.

Уж не весна ли навеяла эти странные мысли?

Впрочем, пожалуй, весна здесь ни при чем.

Потому что если бы весна, то, конечно, любовался бы Бульбезов на распускающиеся деревья, на целующихся под этими деревьями парочек, на букетики первых фиалок, предлагаемых хриплыми голосами густо налитых красным вином парижских старух. Наконец, из окна его комнаты, если открыть его и перегнуться вправо, можно было увидеть луну, что для влюбленных всегда отрадно. Но Бульбе-

зов окна не открывал и не перегибался. Бульбезову не было до луны буквально никакого дела.

Началось дело не с луны, и не с цветов, и вообще не с пуговиц. Началось дело с оборванной пуговицы на жилетке и продолжилось дело дырой на колене, то есть не на самом колене, а на платье, его обтягивающем и покрывающем. Короче говоря — на штанине.

И кончилось дело решением. Решением — вы думаете, пришить да заштопать? Вот, подумаешь, было бы тогда о чем расписывать.

Жениться задумал Бульбезов. Вот что.

И как только задумал, сразу же по прямой нити от пуговицы дотянулась мысль его до иголки, зацепила мысль руку, держащую эту иголку, и уперлась в шею, в Марию Сергеевну Утину.

— Жениться на Утиной.

Молода, мила, приятна, работает, шьет, все пришьет, все зашьет.

И тут Бульбезов даже удивился — как это ему раньше не пришла в голову такая мысль? Ведь если бы он раньше додумался, теперь бы пуговица сидела на месте, и сам бы он сидел на месте, и не надо было бы тащиться к этой самой Утиной, объясняться в чувствах, а сидела бы эта самая Утина тоже здесь и следила бы любящими глазами, как он работает.

Откладывать было бы глупо.

Он переменял воротничок, пригладился, долго и с большим удовольствием рассматривал в зеркало свой крупный щербатый нос, провалившиеся щеки и покрытый гусиной кожей кадык.

Впрочем, ничего не было в этом удовольствии удивительного. Большинство мужчин получают от зеркала очень приятные впечатления. Женщина, та всегда чем-то мучается, на что-то ропщет, что-то поправляет. То подавай ей длинные ресницы, то зачем у нее рот не пуговкой, то надо волосы позолотить. Все чего-то хлопочет. Мужчина взглянет, повернется чуть-чуть в профиль — и готов. Доволен. Ни о чем не мечтает и ни о чем не жалеет.

Но не будем отвлекаться.

Полюбовавшись на себя и взяв чистый платок, Бульбезов решительным шагом направился по Камбронной улице к Вожиару.

Вечерело.

По тротуару толкались прохожие, усталые и озабоченные.

Ажан гнал с улицы старую цветочницу. Острым буравчиком ввинчивался в воздух звонок кинематографа.

Бульбезов свернул за изгнанной цветочницей и купил ветку мимозы.

— С цветами легче наладить разговор.

Винтовая лестница отельчика пахла съедобными запахами, рыбьими, капустными и луковыми. За каждой дверью звякали ложки и брякали тарелки.

— Антре!¹ — ответил на стук голос Марьи Сергеевны.

Когда он вошел, она вскочила, быстро сунула в шкаф какую-то чашку и вытерла рот.

— Да вы не стесняйтесь, пожалуйста, я, кажется, помешал, — светским тоном начал Бульбезов и протянул ей мимозу. — Вот!

¹ Войдите! (от *фр.* entrez)

Марья Сергеевна взяла цветы, покраснела и стала поправлять волосы. Она была пухленькая, с пушистыми кудерьками, курносенькая, очень приятная.

— Ну к чему это вы! — смущенно пробормотала она и несколько раз метнула на Бульбезова удивленным лукавым глазком. — Садитесь, пожалуйста. Простите, здесь все разбросано. Масса работы. Подождите, я сейчас свет зажгу.

Бульбезов, совсем уж было наладивший комплимент («Вы, знаете ли, так прелестны, что вот не утерпел и прибежал»), вдруг насторожился:

— Как это вы изволили выразиться? Что это вы сказали?

— Я? — удивилась Марья Сергеевна. — Я сказала, что сейчас свет зажгу. А что?

И, подойдя к двери, повернула выключатель от верхней лампы. Повернула и, залитая светом, кокетливо подняла голову.

— Виноват, — сухо сказал Бульбезов. — Я думал, что ослышался, но вы снова и, по-видимому, вполне сознательно повторили ту же нелепость.

— Что? — растерялась Марья Сергеевна.

— Вы сказали: «я зажгу свет». Как можно, хотел бы я знать, зажечь свет? Вы можете зажечь лампу, свечу, наконец, спичку. И тогда будет свет. Но как вы будете зажигать свет? Поднесете к огню зажженную спичку, что ли? Ха-ха! Нет, это мне нравится! Зажечь свет!

— Ну чего вы привязались? — обиженно надув губы, проворчала Марья Сергеевна. — Все так говорят, и никто никогда не удивлялся.

Бульбезов от негодования встал во весь рост и выпрямился. И, выпрямившись, оказался головой

на уровне прикрепленного над умывальником зеркала, в котором и отразилось его пламенеющее негодованием лицо.

На секунду он приостановился, заинтересованный этой великолепной картиной. Посмотрел прямо, посмотрел, скосив глаз, в профиль, вдохновился и воскликнул:

— «Все говорят!» Какой ужас слышать такую фразу. Или вы действительно считаете осмысленным все, что вы все делаете? Это поражает меня. Скажу больше — это оскорбляет меня. Вы, которую я выбрал и отметил, оказываетесь тесно спаянной со «всеми»! Спасибо. Очень умно то, что вы все делаете! Вы теперь наострили лыжи на стратосферу. Вам, изволите ли видеть, нужны какие-то собачьи измерения на высоте ста километров. А тут-то вы, на земле, на своей собственной земле, все измерили? Что вы знаете хотя бы об электричестве? Затвердили как попугай: «Анод и катод, а посередине искра». А знаете вы, что такое катод?

— Да отвяжитесь вы от меня! — визгнула Марья Сергеевна. — Когда я к вам с катодом лезла? Никаких я и не знаю, и знать не хочу.

— Вы и вам подобные, — гремел Бульбезов, — стремятся на Луну и на Марс. А изучили вы среднее течение Амазонки? Изучили вы Центральную Африку с ее непроходимыми дебрями?

— Да на что мне эти дебри? Жила без дебрей и проживу, — кричала в ответ Марья Сергеевна.

— Умеете вы вылечивать туберкулез? Нашли вы бациллу рака? — не слушая ее, неистовствовал Бульбезов. — Вам нужна стратосфера? Шиш вы получите от вашей стратосферы, свиньи собачьи, неучи!

— Нахал! Скандалист! — надрывалась Марья Сергеевна. — Вон отсюда! Вон! Сейчас консьержку кликну..

— И уйду. И жалею, что пришел. Тля!

Он машинально схватил ветку мимозы, которая так и оставалась на столе, и, согнув пополам, ткнул ее в карман пальто.

— Тля! — повторил он еще раз и, кинув быстрый взгляд в зеркало, пощупал, тут ли мимоза, демонстративно повернулся спиной к хозяйке и вышел.

Марья Сергеевна долго смотрела ему вслед и хлопала глазами.

БАНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Это, конечно, случается довольно часто, что человек, написав два письма, заклеивает их, перепутав конверты. Из этого потом выходят всякие забавные или неприятные истории.

И так как случается это большею частью с людьми рассеянными и легкомысленными, то они как-нибудь по-своему, по-легкомысленному, и выпутываются из глупого положения.

Но если такая беда прихлопнет человека семейного, солидного, так тут уж забавного мало.

Тут трагедия.

Но, как ни странно, порою ошибки человеческие приносят человеку больше пользы, чем поступки и продуманные, и разумные.

История, которую я хочу сейчас рассказать, случилась именно с человеком серьезным и весьма се-

мейным. Говорим «весьма семейным», потому что в силу именно своих семейных склонностей — качество весьма редкое в современном обществе, а потому особо ценное — имел целых две семьи сразу.

Первая семья, в которой он жил, состояла из жены, с которой он не жил, и дочки Линочки, девицы молодой, но многообещающей и уже раза два свои обещания сдерживавшей, — но это к нашему рассказу не относится.

Вторая семья, в которой он не жил, была сложнее.

Она состояла из жены, с которой он жил, и, как это ни странно, — мужа этой жены.

Была там еще чья-то маменька и чей-то братец. Большая семья, запутанная, требующая очень внимательного отношения.

Маменьке нужно было дарить карты для гаданья и теплые платки. Мужу — сигары. Братцу давать займы без отдачи. А самой очаровательнице Виктории Орестовне разные кулончики, колечки, лисички и прочие необходимости для женщины с запросами.

Особой радости, откровенно говоря, герой наш не находил ни в той ни в другой семье.

В той семье, где он жил, была страдальца-жена, ничего не требовавшая, кроме сострадания и уважения к ее горю, и изводившая его своей позой кроткой покорности.

— Леди Годива паршивая!

Кроме того, в семье, где он жил, имелась эта самая дочка Линочка, совавшая свой нос всюду, куда не следует, подслушивающая телефонные разговоры, выкрадывающая письма и слегка шантажирующая растерянного папашу.

— Папочка! Ты это для кого купил брошечку?
Для меня или для мамочки?

— Какую брошечку? Что ты болтаешь?

— А я видела счет.

— Какой счет? Что за вздор?

— А у тебя из жилетки вывалился.

Папочка густо краснел и пучил глаза.

Тогда Линочка подходила к нему мягкой кошечкой и шепелявила:

— Папоцка! Дай Линочке тлиста фланков на пъятице. Линоцка твой велный длуг!

И что-то было в ее глазах такое подлое, что папочка пугался и давал.

В той семье, где он не жил, у всех были свои заученные позы.

Сама Виктория «любила и страдала от двойственности». Ее муж, этот кроткий и чистый Ваня, не должен ничего знать. Но обманывать его так тяжело.

— Дорогой! Хочешь, лучше умрем вместе?

Папочка пугался и вез Викторию ужинать.

Поза чистого Вани была такова: безумно любящий муж, доверчивый и великодушный, в котором иногда вдруг начинает шевелиться подозрение.

Поза брата была:

— Я все понимаю и потому все прощаю. Но иногда моральное чувство во мне возмущается. Моя несчастная сестра...

Для усыпления морального чувства приходилось немедленно давать взаймы.

Поза маменьки ясно и просто говорила:

— И чего все ерундой занимаются. Отвалил бы сразу куш да и шел бы к черту.

Все детали этих поз, конечно, герой этого печального романа не улавливал, но атмосферу, неприятную и беспокойную, чувствовал.

Но особенно неприятная атмосфера создалась за последнее время, когда к Виктории зачастил какой-то артист с гитарой. Он хрипел цыганские романсы, смотрел на Викторию тухлыми глазами, а она звала его гениальным Юрочкой и несколько раз заставляла папочку брать его с ними в рестораны под предлогом страха перед сплетнями, если будут часто видеть их вдвоем.

Все это папочке остро не нравилось. До сих пор было у него хоть то утешение, что он еще не сдан в архив, что у него «красивый грех» с замужней женщиной и что он заставляет ревновать человека, значительно моложе его. А теперь, при наличии гениального Юрочки, который, кстати, уже два раза перехватывал у него взаймы, — красивый грех потерял всякую пряность. Стало скучно. Но он продолжал ходить в этот сумбурный дом, мрачно, упрямо и деловито, — словно службу служил.

Странно сказать, но ему как-то неловко было бы перед своими домашними вдруг перестать уходить в привычные часы из дому. Он боялся подозрительных, а может быть, и насмешливых, а то еще хуже — радостных взглядов жены и ехидных намеков Личочки.

В таких чувствах и настроениях застали его рождественские праздники.

Виктория разводила загадочность и томность.

— Нет, я никуда не пойду в сочельник. Мне что-то так грустно, так тревожно. Что же вы молчите, Евгений Павлыч? Вы слышите — я никуда не хочу идти.

— Ну что ж, — равнодушно отвечал папочка. — Не хотите, так и не надо.

Глазки Виктории злобно сверкнули.

— Но ведь вы, кажется, что-то проектировали?

— Да, я хотел предложить вам поехать на Монмартр.

— На Монмартр? — подхватил гениальный Юрочка. — Что ж, это идея. Я бы вас там разыскал.

— А бедный Ваня? — спросила Виктория. — Я не хочу, чтобы он скучал один.

— А я свободен, — заявил братец. — Я мог бы присоединиться.

— А я могла бы надеть твой кротовый балдахин, — неожиданно заявила маменька.

— Да, но как же бедный Ваня? — настойчиво повторяла Виктория. — Евгений Павлович! Я без него не поеду.

«Ловко, — подумал Евгений Павлович. — Это значит, волокиты все святое семейство. Нашли дурака».

— Ну что же, голубчик, — нежно улыбнулся он, — если вам не хочется, то не надо себя принуждать. А я, хе-хе, по-стариковски с удовольствием посижу дома.

Он взял ручку хозяйки, поцеловал и стал прощаться с другими.

— Я вам, то есть вы мне все-таки завтра позвоните! — всколыхнулась Виктория.

— Если только смогу, — светским тоном ответил папочка.

Ему самому очень понравился этот светский тон. Так понравился, что он сразу и бесповоротно решил в нем утвердиться.

На следующее утро, утро сочельника, жена-страдалица сказала ему:

— Ты не сердись, Евгеша, но Линочка позвала сегодня вечером кое-кого. Разумеется, совершенно запросто. Тебя, конечно, дома не будет, но я сочла нужным все-таки сказать.

— Почему ты решила, что меня не будет дома? — вдруг возмутился Евгений Павлович. — И почему ты берешь на себя смелость распорядиться моей жизнью? И кто, наконец, может мне запретить сидеть дома, если я этого хочу?

Выходило что-то из ряда вон глупое. Страдалица-жена даже растерялась. Ее роль была стоять перед мужем кротким укором. Теперь получалось, что он ее укоряет.

Она почувствовала себя в положении примадонны, у которой без всякого предупреждения отняли всегда исполняемую ею роль и передали артисту совершенно другого амплуа.

— Господь с тобой, Евгеша, — залепетала она. — Я, наоборот, страшно рада...

— Знаем мы эти радости! — буркнул папочка и пошел звонить по телефону.

Звонил он, конечно, к Виктории, но подошел к аппарату брата.

— Передайте, что очень жалею, но едва ли смогу вырваться.

— То есть как это так? — грозно возвысил тон братец. — Мы уже приготовились, мы, может быть, отклонили массу приглашений! Мы, наконец, затра- тились.

Папочка затаил дыхание и тихонько повесил трубку. Пусть думает, что он уже давно отошел.

Но было тревожно.

Жена ходила по дому растерянная и как-то опасно оборачивалась, втянув голову в плечи, точно боялась, что ее треснут по затылку. Шепталась о чем-то с Линочкой, а та пожимала плечами.

Папочка нервничал, поглядывал на телефон и бормотал тихо, но с чувством:

Нет, в этот вырубленный лес
Меня не заманят.
Где были дубы до небес,
Там только пни торчат.

При слове «пни» с омерзением представлял себе Викторьину маменьку в кротовом «балдахине».

Вечером страдалица-жена, окончательно потерявшая платформу, попросила его купить коробку килек и десятка три мандаринов.

Он вздохнул и прошептал:

— Теперь уж я на побегушках.

Пошел в магазин, купил мандарины и кильки и, уже уходя, увидел роскошную корзину, выставленную в витрине. Огромная, квадратная. В каждом углу, выпятив пузо, полулежали бутылки шампанского. Гигантский ананас в щитовидных пупырях, словно осетровая спина, раскинул пальмой свой зеленый султан. Виноград, крупный, как сливы, свисал тяжелыми гроздьями. Груши, как раскормленные рыхлые бабы в бурых веснушках, напирала на круглые лоснящиеся рожи румяных яблок.

Потрясающая корзина!

И вдруг — мысль!

— Пошло этой банде гангстеров. Вот это будет барский жест!

На минуту стала противна ясно представившаяся харя гениального Юрочки, хряпающая ананас. Но красота барского жеста покрыла харю.

Чудовищная цена корзины даже порадовала Евгения Павловича.

— Братец, наверное, справится у посыльного, сколько заплачено. Ха! Это вам не гениальный Юрочка. Это барин, Евгений Павлович.

Папочка достал свою карточку и надписал на ней адрес Виктории.

Но теперь приказчик уже никак не мог допустить, чтобы такой роскошный покупатель сам понес сверток с мандаринами. Он почти силой овладел покупкой и заставил Евгения Павловича написать на карточке свой адрес.

Ну, вот тут, на этом самом месте, и преломилась его судьба. Преломилась потому, что чахлые мандарины и плебейские кильки поехали к гангстерам, а потрясающая корзина прямо к нему домой, и вдобавок так скоро, что уже встретила его на столе в столовой, окруженная недоуменно-радостными лицами страдалицы-жены, подлой Линочки, горничной Мари и даже кухарки Анны Тимофеевны (из благородных).

Потом пришли гости. Кавочка Бусова, веселая Линочкина подруга, подвыпив шампанского, пожалла папочке под столом руку.

— Какая цыпочка! — умилился папочка. — И ведь это всего от одного бокала!

И тут же подумал, что был он сущим дураком, тратя время и деньги на нудную Викторию, у которой шампанское вызывало икоту.

— «Нет, в этот вырубленный лес...»

Виктория долго выдерживала характер и не подавала признаков жизни.

Папочка отоспался, поправился и повеселел. Повел Кавочку в سینема.

Наконец гангстеры зашевелились — пришло письмо от брата.

«Если вас еще интересуєт судьба обиженной и униженной вами женщины, то знайте, что у ее брата нет весеннего пальто».

Папочка зевнул, потянулся и сказал бывшей страдалице-жене:

— А почему, ма шер¹, ты никогда не закажешь рассольника? Понимаешь? С потрохами?

На что бывшая страдалица, окончательно утратившая прежнюю платформу, отвечала рассеянно и равнодушно:

— Хорошо, как-нибудь при случае, если не забуду.

ЧУДО ВЕСНЫ

Светлый праздник в санатории доктора Лувье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной.

После завтрака больные прифрантились и стали ждать гостей.

К вечеру от пережитых волнений и непривычных запрещенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались. Сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забе-

¹ Дорогая (от *фр.* chère).

гали сиделки с горячей ромашкой и грелками, и заворчал успокоительный басок доктора.

— Зачем все они терзают меня своей любовью! — томной курицей кудахтала в номере пятом испанка с воображаемой болезнью печени. — Зачем мне эти букеты, эти конфеты? Ведь они же знают, что я умираю. Позовите доктора, пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения.

В номере десятом рантьерша мадам Калю запустила стаканом в кроткую и бестолковую свою сиделку Мари. Ее, мадам Калю, никто не известил, да она и не разрешила ни мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она оттого, что вопли испанки ее раздражали.

Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса.

— Не надо сердиться! — кротко уговаривала ее Мари. — Надо быть пайнкой, надо кушать суп, чтобы скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скучает о своей маленькой женке и детки плачут о своей мамочке.

Мадам Калю вспомнила о своем муже, плешивом подлеце, содержавшем на ее счет актрисенку из «Ревю», вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари.

Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Вверенный ей здоровенный больной, греческий генерал, во-первых, объелся страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он вислоухий дурак и притворщик и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло.

Генерал вопил, что он умирает, и требовал морфия.

Лиза успокаивала его как могла, но он стучал на нее кулаком.

— Вы старая дева! Безнадежная старая дева, и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего. А я полон сил и обречен на гибель!

Почему он обречен на гибель, он и сам не знал. Не знала и Лиза и, отвернувшись, заплакала.

И слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки.

У него была особого рода неврастения: при виде какой-нибудь неприятности, приключавшейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличным настроением. Когда однажды в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль.

Да. Странные болезни бывают на белом свете...

Ночью Лиза долго не ложилась, вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами, исписанные русскими буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго вопросительно на нее смотрела.

На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз.

Толстая кроткая Мари спешно допивала свой кофе.

— Я сейчас иду на станцию, — сказала она. — Нужно получить пакет.

Лиза вышла за ней на крыльцо.

— Я, пожалуй, сбегая с вами, — сказала она, слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха.

— Вы простудитесь, — сказала Мари. — Накиньте что-нибудь.

— Нет, так отлично!

Пасха была ранняя.

Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои, чуть розовеющие, наливающиеся соками прутики.

Длинная, сухая прошлогодняя трава порошила сквозной щетинкой плотный, ядовито-зеленый газон.

Облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке. И все было такое новое, непрочное, и неизвестно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну или только мелькнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму.

И это ярко раскрашенное небо, и обещающие жизнь розовеющие цветочки, и то, что она так помолодому, легкомысленно, выбежала в одном платье, — все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились, и вялые губы улыбнулись бессмысленно-счастливо.

— Я всегда такая! Мне всё всё равно! — звонко сказала она и удачно тряхнула головой.

Мари с удивлением поглядела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой.

— Да, вы, русские, совсем особенные, — сказала она. — Оттого все в вас и влюбляются.

Лиза засмеялась задорно и весело.

— Ну, знаете ли, влюбляются действительно, но далеко не во всех.

Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло, без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала.

Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и спрыгнула.

— Какая вы ловкая! — ахнула Мари. — Как молоденькая!

Лиза обернулась. Ее лицо раскраснелось, волосы выбились из-под косынки.

Проходивший мимо почтальон закричал:

— Bravo! Bravo!

Лиза бросила ему лукавый взгляд.

— Ах, какая же вы шалунья! — восторженно удивлялась Мари. — Я всегда думала, что вы такая тихонькая, а вы такой чертенок. Наверное, все больные от вас без ума!

— Ну уж и все! — кокетливо улыбалась Лиза. — Далеко не все. Почтальон! Пойдите. Нет ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Корнофф?

Почтальон, поглядывая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке.

— А уж он и рад, что вы с ним болтаете! — шептала Мари, радостно волнуясь.

— Мадемуазель Корнофф. Так? — спросил почтальон и подал Лизе открытку.

Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами «Х. В.». Марка была болгарская, но письма она без очков прочесть не могла. Да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта и что все то,

что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жило, и обещало, и звало.

Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревцо, словно в каком-то буйствующем восторге всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое, и выбрызнуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу.

— От «него»? — спросила Мари, указывая глазами на торчащую из кармана открытку.

Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой.

— Старая история! Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он — врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался и, конечно, в отчаянии.

— А вы? — спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо.

— Я?

Лиза передернула плечами и засмеялась:

— Я, дорогая моя, люблю свободу.

И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голосом:

L'amour est un enfant de Bohême,
Qui n'a jamais connu de loi...¹

— Это из «Кармен»!

— Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал, наверное, тоже к вам неравнодушен?

Лиза презрительно пожала плечами.

¹ Любовь — дитя богемы, //Никогда, никогда не знавшее закона (фр.).

— Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека?

«Удивительная женщина! — думала добродушная Мари. — И некрасива, и немолода, а вот умеет же сводить с ума! Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно?»

А Лиза бежала походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна.

Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе:

— Бегите скорее к вашему генералу. Он так ругается, что с ним сладу нет.

Лизе очень хотелось сбегать к себе за очками, чтобы узнать наконец, о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер девятый, затхлую, прокуренную, где злой человек с одутлым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой.

Шторы в комнате были опущены, и небо за ними умерло.

Потом привезли новую больную, потом приехал профессор...

Лиза уже не улыбалась. Она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка, и тихо сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона.

И только вечером, после обеда, быстро взбежав по лесенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, она блаженно вздохнула:

— Ну вот! Наконец-то!

Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать...

Милый знакомый почерк... И как много написано! Ого! Не так-то, видно, скоро можно меня забыть!

«Дорогая Лизавета Петровна, — писал знакомый почерк, — простите за долгое молчание. Причины к тому были важные. Не удивляйтесь новости: я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь с моей женой, то поймете меня и не осудите, такая она прелестная. Она Вас знает по моим рассказам и уже полюбила.

Искренне преданный Вам

Н. Облуков.

P. S. Ее зовут Любовь Александровна. *Н. О.»*

АТМОСФЕРА ЛЮБВИ

Начало той истории, которую я хочу вам рассказать, довольно банально — дама позвала к себе в гости тех людей, которые, по ее мнению, ее любят и поэтому никаких неприятных моментов ей не доставят.

Собрать таких людей, между прочим, вовсе не так-то просто. Ну, вот вы, например, знаете, что такой-то Иван Андреевич очень многим вам обязан, но чувствует ли он к вам благодарность — это еще вопрос. Может быть, именно терпеть вас не может за то, что многим вам обязан? Разве этого не бывает?

И вот та дама, о которой идет речь, долго обдумывала и решила, что позвать можно только тех, кто

отдал ей когда-то кусок души. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь лапой, поскрести немножко сверху.

Это, впрочем, касается, скорее, мужчин. Женщины существа неблагодарные. Человека, который от них отошел, редко вспоминают тепло. О том, с которым прожили лет пять и прижили троих детей, могут отозваться примерно так:

— И этот болван, кажется, вообразал, что я способна на близость с ним!

Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа.

Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить четырех кавалеров. Двое из них принадлежали ее прошлому, один настоящему и один будущему.

Первый из принадлежащих прошлому был не кто иной, как разведенный муж этой самой дамы. Когда-то он очень страдал, потом переключил страдание на безоблачную дружбу, женился и, когда новая жена надоела, опять переключился на умиленную любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей десятую часть на Национальную лотерею. Звали его Андреем Андреевичем.

Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись. Он был давно переключен на дружбу, однако полную обожания и благодарности за незабываемые страницы — конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал взаймы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаич.

Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается герою текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом — в его чувстве сомнений быть не могло.

Человек будущего был дансер Вовочка. Вовочка еще был в стадии мечтаний и желаний, в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил.

Словом, вся компания, весь мажорный аккорд из четырех нот обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил. А у каждой женщины известных лет (которые вернее было бы называть «неизвестными») бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа. А ничто так не поднимает этот упавший дух, как атмосфера любви. Чувствовать, как тобой любят, как следят за каждым твоим движением влюбленные глаза, тогда все в чуткой женской душе — прибавленные за последние дни два кило веса и замеченные морщины в углах рта — исчезает, выпрямляются плечи, загораются глаза, и женщина смело начинает смотреть в свое будущее, которое сидит тут же, подрыгивает ногой и курит папироску.

Итак, дама, о которой идет речь, — звали даму Марья Артемьевна, — пригласила этих четырех кавалеров к обеду.

Первым пришел — олицетворяющий настоящее — Алексей Петрович. Узнав, кто еще приглашен, выразил на лице своем явное неодобрение.

— Странная идея! — сказал он. — Неужели эти люди могут представить какой-нибудь интерес в обществе? Впрочем, это дело ваше.

Он стал задумчив и мрачен, и только имя Вовочки вызвало на лице его улыбку.

— Милый молодой человек. И вполне серьезный, несмотря на свою профессию.

Марья Артемьевна немножко как будто удивилась, но удивления своего не выказала.

Словом, все обещало идти как по маслу и началось действительно хорошо.

Бывший муж принес конфеты. Это было так мило, что она невольно шепнула ему:

— Мерси, котик.

Второй представитель прошлого, Сергей Николаич, принес фиалки, и это было так нежно, что она и ему невольно шепнула:

— Мерси, котик.

Вовочка ничего не принес и так мило сконфузился, видя эти подарки, что она от разнеженности чувств шепнула и ему тоже:

— Мерси, котик.

Ну, словом, все было прелестно.

Конечно, Андрей Андреич покосился на фиалки Сергея Николаича — но это было вполне естественно. А Сергея Николаича покорило от конфет Андрея Андреича — и это было вполне понятно. Разумеется, Алексею Петровичу были неприятны и цветы, и конфеты — но это вполне законно. Вовочка надулся — но это так забавно!

Пустяки — пусть поревнуют. Тем веселее, тем ярче.

Она чувствовала себя веселой пчелкой, королевой улья среди гудящих любовью трутней.

Сели за стол.

Зеленые щи с ватрушками. Коньяк, водка. Все разогрелись, разговорились.

Марья Артемьевна, розовая, оживленная, думала: «Какая чудесная была у меня мысль позвать именно этих испытанных друзей. Все они любят меня и ревнуют, и это общее их чувство ко мне соединяет их между собой».

— А ватрушки сыроваты, — вдруг заметил Алексей Петрович, представитель настоящего, и даже многозначительно поднял брови.

— Н-да! — добродушно подхватил бывший муж. — Ты, Манюрочка, уж не обижайся, а хозяйка ты никакая.

— Ну-ну, нечего, — весело остановила их Марья Артемьевна. — Вовсе они не так плохи. Я ем с большим удовольствием.

— Ну, это еще ничего не значит, что вы едите с удовольствием, — довольно раздраженно вступил в разговор Сергей Николаич, тот самый, из-за которого произошел развод. — Вы никогда не отличались ни вкусом, ни разборчивостью.

— Женщины вообще, — вдруг вступил в разговор Вовочка, запнулся, покраснел и смолк.

— Ну, господа, какие вы, право, все сердитые! — рассмеялась Марья Артемьевна.

Ей хотелось поскорее оборвать этот нудный разговор и наладить снова нежно-уютную атмосферу.

Но не тут-то было.

— Мы сердитые? — спросил бывший муж. — Обычная женская манера сваливать свою вину на других. Подала сырое тесто она, а виноваты мы. Мы, оказывается, сердитые.

Но Марья Артемьевна все еще не хотела сдаваться.

— Вовочка, — сказала она, кокетливо улыбаясь представителю будущего. — Вовочка, неужели и вы скажете, что мои ватрушки нельзя есть?

Вовочка под влиянием этой нежной улыбки уже начал было и сам улыбаться, как вдруг раздался голос Алексея Петровича:

— Мосье Вовочка слишком хорошо воспитан, чтобы ответить вам правду. С другой стороны, он слишком культурен, чтобы есть эту ужасную стряпню. Надеюсь, дорогая моя, вы не обижаетесь?

Вовочка нахмурился, чтобы показать сложность своего положения. Марья Артемьевна заискивающе улыбнулась всем по очереди, и обед продолжался.

— Ну вот, — бодро и весело говорила она. — Надеюсь, что этот матлот из угрей заставит вас забыть о ватрушках.

Она снова кокетливо улыбалась, но на нее уже никто не обращал внимания. Бывший муж заговорил с Алексеем Петровичем о банковских делах. Разговор их заинтересовал Сергея Николаича так сильно, что хозяйке пришлось два раза спросить у него, не хочет ли он салата. В первый раз он ничего не ответил, а на второй вопрос буркнул:

— Да ладно, отстань!

Эту неожиданную реплику услышал Вовочка, покраснел и надулся.

Марья Артемьевна почувствовала, что ее будущее в опасности.

— Вовочка, — тихонько сказала она, — вам нравится мое жабо? Я его надела для вас.

Вовочка чуть-чуть покосился на жабо, буркнул:
— Толстит шею.

И отвернулся.

Ничего нельзя было с ним поделывать.

А те трое окончательно сдружились. Хозяйка совершенно перестала для них существовать. На ее вопросы и потчеванье они не обращали никакого внимания, и раз только бывший муж спросил, нет ли у нее минеральной воды, причем назвал ее почему-то Сонечкой и даже сам этого не заметил.

Они, эти трое, давно уже съехали с разговора о банковских делах на политику и очень сошлись во взглядах. Только раз скользнуло маленькое разногласие — Андрей Андреич слышал от одного француза, что большевики падут в сентябре, а Сергей Николаич знал сам от себя, что они должны были пасть еще в прошлом марте, но по небрежности и безалаберности, конечно, запоздали.

С политики переехали на анекдоты, которые рассказывали друг другу на ухо и долго громко хохотали.

Потом им надоело шептаться, и Андрей Андреич сказал Марье Артемьевне:

— А вы, душечка, пошли бы на кухню и посмотрели бы за кофе, а то выйдет, как с ватрушками. А мы бы здесь пока поговорили. Удивляюсь, как вы сами никогда ни о чем не догадываетесь.

И все на эти слова одобрительно загоготали.

Марья Артемьевна, очень обиженная, ушла в спальню и чуть-чуть всплакнула.

Когда она вернулась в столовую, оказалось, что гости уже встали и, отказавшись от кофе, куда-то очень заторопились.

— Мы хотим еще пройти на Монпарнас, куда-нибудь в кафе, подышать воздухом, — холодно объяснил хозяйке Алексей Петрович и глядел куда-то мимо нее.

Весело и громко разговаривая, стали они спускаться с лестницы.

— Вовочка! — почти с отчаянием остановила Марья Артемьевна своего дансера. — Вовочка, еще рано! Оставайтесь!

Но Вовочка криво усмехнулся и пробормотал:

— Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями.

И бросился вприпрыжку вниз по лестнице.

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Тощий, длинный, голова узкая, плешивая, выражение лица мудрое.

Говорит только на темы практические, без шуточек-прибауточек, без улыбочек. Если и усмехнется, так непременно иронически, оттянув углы рта книзу.

Занимает в эмиграции положение скромное: торгует вразнос духами и селедками. Духи пахнут селедками, селедки — духами.

Торгует плохо. Убеждает неубедительно:

— Духи скверные? Так ведь дешево. За эти самые духи в магазине шестьдесят франчков отвалили, а у меня девять. А плохо пахнут, так вы живо принохаетесь. И не к такому человек привыкает.

— Что? Селедка одеколоном пахнет? Это ее вкусу не вредит. Мало что. Вот немцы, говорят, такой

сыр едят, что покойником пахнет. И ничего. Не обижаются. Затошнит? Не знаю, никто не жаловался. От тошноты тоже никто не помирал. Никто не жаловался, что помирал.

Сам серый, брови рыжие. Рыжие и шевелятся. Любил рассказывать о своей жизни. Понимал, что жизнь его является образец поступков осмысленных и правильных. Рассказывая, он поучает и одновременно выказывает недоверие к вашей сообразительности и восприимчивости.

— Фамилия наша Вурюгин. Не Ворюгин, как многие позволяют себе шутить, а именно Вурюгин, от совершенно неизвестного корня. Жили мы в Таганроге. Так жили, что ни один француз даже в воображении не может иметь такой жизни. Шесть лошадей, две коровы. Огород, угодя. Лавку отец держал. Чего? Да все было. Хочешь кирпичу — получай кирпичу. Хочешь постного масла — изволь масла. Хочешь бараний тулуп — получай тулуп. Даже готовое платье было. Да какое! Не то что здесь, — год поносил, все залоснится. У нас такие материалы были, какие здесь и во сне не снились. Крепкие, с ворсом. И фасоны ловкие, широкие, любой артист наденет — не прогадает. Модные. Здесь у них насчет моды, надо сказать, слабовато. Выставили летом сапоги коричневой кожи. Ах-ах! во всех магазинах, ах-ах, последняя мода. Ну, я хожу, смотрю, да только головой качаю. Я такие точно сапоги двадцать лет тому назад в Таганроге носил. Вон когда. Двадцать лет тому назад, а к ним сюда мода только сейчас докатилась. Модники, нечего сказать.

А дамы как одеваются! Разве у нас носили такие лепешки на голове? Да у нас бы с такой лепешкой

прямо постыдились бы на люди выйти. У нас модно одевались, шикарно. А здесь о моде понятия не имеют.

Скучно у них. Ужасно скучно. Метро да синема. Стали бы у нас в Таганроге так по метро метаться? Несколько сот тысяч человек ежедневно по парижским метро проезжает. И вы станете меня уверять, что все они по делу ездят? Ну, это, знаете, как говорится, ври, да не завирайся. Триста тысяч человек в день и все по делу! Где же эти их дела-то? В чем они себя сказывают? В торговле? В торговле, извините меня, застой. В работах тоже, извините меня, застой. Так где же, спрашивается, дела, по которым триста тысяч человек день и ночь, вылупя глаза, по метро носят? Удивляюсь, благоговею, но не верю.

На чужбине, конечно, тяжело, и многого не понимаешь. Особенно человеку одинокому. Днем, конечно, работаешь, а по вечерам прямо дичаешь. Иногда подойдешь вечером к умывальнику, посмотришь на себя в зеркальце и сам себе скажешь:

— Вурюгин, Вурюгин! Ты ли это богатырь и красавец? Ты ли это торговый дом? и ты ли это шесть лошадей, и ты ли это две коровы? Одинокая твоя жизнь, и усох ты, как цветок без корня.

И вот должен я вам сказать, что решил я как-то влюбиться. Как говорится — решено и подписано. И жила у нас на лестнице в нашем отеле «Трезор» молоденькая барынька, очень милая и даже, между нами говоря, хорошенькая. Вдова. И мальчик у нее был пятилетний, славненький. Очень славненький был мальчик.

Дамочка ничего себе, немножко зарабатывала шитьем, так что не очень жаловалась. А то знаете —

наши беженки — пригласишь ее чайку попить, а она тебе, как худой бухгалтер, все только считает да пересчитывает: «Ах, там не заплатили пятьдесят, а тут недоплатили шестьдесят, а комната двести в месяц, а на метро три франка в день». Считают да вычитают — тоска берет. С дамой интересно, чтобы она про тебя что-нибудь красивое говорила, а не про свои счета. Ну а эта дамочка была особенная. Все что-то напевает, хотя при этом не легкомысленная, а, как говорится, с запросами, с подходом к жизни. Увидела, что у меня на пальто пуговица на нитке висит, и тотчас, ни слова не говоря, приносит иголку и пришивает.

Ну я, знаете ли, дальше — больше. Решил влюбиться. И мальчик славненький. Я люблю ко всему относиться серьезно. А особенно в таком деле. Надо умеючи рассуждать. У меня не пустяки в голове были, а законный брак. Спросил, между прочим, свои ли у нее зубы. Хотя и молоденькая, да ведь всякое бывает. Была в Таганроге одна учительница. Тоже молоденькая, а потом оказалось — глаз вставной.

Ну, значит, приглядываюсь я к своей дамочке и совсем уж, значит, все взвесил. Жениться можно.

И вот одно неожиданное обстоятельство открыло мне глаза, что мне, как порядочному и добросовестному, больше скажу — благородному человеку, жениться на ней нельзя. Ведь подумать только — такой ничтожный, казалось бы, случай, а перевернул всю жизнь на старую зарубку.

И было дело вот как. Сидим мы как-то у нее вечером, очень уютно, вспоминаем, какие в России супы были. Четырнадцать насчитали, а горох и за-

были. Ну и смешно стало. То есть смеялась-то, конечно, она, я смеяться не люблю. Я скорее подосадовал на дефект памяти. Вот, значит, сидим, вспоминаем былое могущество, а мальчонка тут же.

— Дай, — говорит, — маман, карамельку.

А она отвечает:

— Нельзя больше, ты уже три съел.

А он ну канючить: «дай» да «дай».

А я говорю, благородно шутя:

— Ну-ка пойді сюда, я тебя отшлепаю.

А она и скажи мне фатальный пункт:

— Ну где вам! Вы человек мягкий, вы его отшлепать не сможете.

И тут разверзлась пропасть у моих ног.

Брать на себя воспитание младенца как раз такого возраста, когда ихнего брата полагается драть, при моем характере абсолютно невозможно. Не могу этого на себя взять. Разве я его когда-нибудь выдеру? Нет, не выдеру. Я драть не умею. И что же? Рубить ребенка, сына любимой женщины.

— Простите, — говорю, — Анна Павловна. Простите, но наш брак утопия, в которой все мы утонем. Потому что я вашему сыну настоящим отцом и воспитателем быть не смогу. Я не только что, а прямо ни одного разу выдрать его не смогу.

Говорил я очень сдержанно, и ни одна фибра на моем лице не дрогнула. Может быть, голос и был слегка подавлен, но за фибру я ручаюсь.

Она, конечно, — ах, ах! Любовь и все такое, и драть мальчику не надо, он, мол, и так хорош.

— Хорош, — говорю, — хорош, а будет плох. И прошу вас, не настаивайте. Будьте тверды. По-

мните, что я драть не могу. Будущностью сына играть не следует.

Ну, она, конечно, женщина, конечно, закричала, что я дурак. Но дело все-таки разошлось, и я не жалею. Я поступил благородно и ради собственного ослепления страсти не пожертвовал юным организмом ребенка.

Взял себя вполне в руки. Дал ей поуспокоиться денек-другой и пришел толково объяснить.

Ну конечно, женщина воспринять не может. Зарядила: «дурак» да «дурак». Совершенно неосновательно.

Так эта история и покончилась. И могу сказать — горжусь. Забыл довольно скоро, потому что считаю ненужным вообще всякие воспоминания. На что? В ломбард их закладывать, что ли?

Ну-с и вот, обдумавши положение, решил я жениться. Только не на русской, дудки-с. Надо уметь рассуждать. Мы где живем? Прямо спрашиваю вас — где? Во Франции. А раз живем во Франции, так, значит, нужно жениться на француженке. Стал подыскивать.

Есть у меня здесь один француз знакомый. Мусью Емельян. Не совсем француз, но давно тут живет и все порядки знает.

Ну вот этот мусью и познакомил меня с одной барышней. На почте служит. Миленькая. Только, знаете, смотрю, а фигурка у нее прехорошенькая. Тоненькая, длинненькая. И платице сидит как влитое.

Эге, думаю, дело дрянь!

— Нет, — говорю, — эта мне не подходит. Нравится, слов нет, но надо уметь рассуждать. Такая

тоненькая, складненькая, всегда сможет купить себе дешевенькое платьице — так, за семьдесят пять франков. А купила платьице — так тут ее дома зубами не удержишь. Пойдет плясать. А разве это хорошо? Разве я для того женюсь, чтобы жена плясала? Нет, — говорю, — найдите мне модель другого выпуска. Поплотнее. И, можете себе представить, живо нашлась. Небольшая модель, но эдакая, знаете, трамбовочка кургузенькая, да и на спине жиру, как говорится, не купить. Но в общем ничего себе и тоже служащая. Вы не подумайте, что какая-нибудь кувалда. Нет, у ней и завитушечки, и плоечки, и все как и у худеньких. Только, конечно, готового платья для нее не достать.

Все это обсудивши да обдумавши, я, значит, открылся ей в чем полагается, да и марш в мэри¹.

И вот, примерно через месяц, запросила она нового платья. Запросила нового платья, и я очень охотно говорю:

— Конечно, готовенькое купишь?

Тут она слегка покраснела и отвечает небрежно:

— Я готовые не люблю. Плохо сидят. Лучше купи мне материю синенького цвета, да отдадим сшить.

Я очень охотно ее целую и иду покупать. Да будто бы по ошибке покупаю самого неподходящего цвета. Вроде буланого, как лошади бывают.

Она немножко растерялась, однако благодарит. Нельзя же — первый подарок, эдак и отвадить легко. Тоже свою линию понимает.

А я очень всему радуюсь и рекомендую ей русскую портниху. Давно ее знал. Драла дороже фран-

¹ Мэрию (от *фр.* mairie).

цуженки, а шила так, что прямо плюнь да свистни. Одной клиентке воротничок к рукаву пришила, да еще спорила. Ну вот, сшила эта самая кутюрша моей барыньке платье. Ну прямо в театр ходить не надо, до того смешно! Буланая телка, да и только. Уж она, бедная, и плакать пробовала, и переделывала, и перекрашивала — ничего не помогло. Так и висит платье на гвозде, а жена сидит дома. Она француженка, она понимает, что каждый месяц платья не сошьешь. Ну вот и живем тихой семейной жизнью. Я очень доволен. А почему? А потому, что надо уметь рассуждать.

Научил ее голубцы готовить.

Счастье тоже само в руки не дается. Нужно знать, как за него взяться.

А всякий бы, конечно, хотел, да не всякий может.

ВИРТУОЗ ЧУВСТВА

Всего интереснее в этом человеке — его осанка.

Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади.

Живет он в эмиграции на какие-то «крохи», но, в общем, недурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам готовить особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин.

Фамилия его Гутбрехт.

Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу «культурных начинаний и продолжений».

Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогарцевав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры, и поскакал к распорядителю, и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник, и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетки с фамилиями, что-то там помудрили, и в конце концов Лизочка оказалась соседкой Гутбрехта.

Гутбрехт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком:

— Дорогая! Ну почему же? Ну почему же нет?

При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Этот прием, известный у Гутбрехта под названием «номер пятый» («работаю номером пятым»), назывался среди его друзей просто «тухлые глаза».

— Смотрите! Гут уже пустил в ход тухлые глаза!

Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека:

— Начнем мы, конечно, с селедочки.

И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом:

— Боже, как она хороша!

И Лизочка не поняла, к кому это относится, — к ней или к селедке, и от смущения не могла есть. Потом начался разговор:

— Когда мы с вами поедem на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру.

Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин!

Наискосок от нее сидела высокая полная дама кариатидного типа. Красивая, величественная.

Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму:

— Правда, какая интересная?

Гутбрехт презрительно повернул свою голую голову, так же презрительно отвернул и сказал:

— Ничего себе мордашка.

Это «мордашка» так удивительно не подходило к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась.

Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называлось у него «сделать мусеньку».

— Детка! Вы смеетесь над Вовочкой!

— Какой Вовочкой? — удивилась Лизочка.

— Надо мной! Я Вовочка! — надув губки, капризничала орлиная голова.

— Какой вы странный! — удивлялась Лизочка. — Вы же старый, а жантильничаете, как маленький.

— Мне пятьдесят лет! — строго сказал Гутбрехт и покраснел. Он обиделся.

— Ну да, я же и говорю, что вы старый! — искренне недоумевала Лизочка.

Недоумевал и Гутбрехт. Он сбавил себе шесть лет и думал, что «пятьдесят» звучит очень молодо.

— Голубчик, — сказал он и вдруг перешел на «ты». — Голубчик, ты глубоко провинциальна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием.

— Почему вы вдруг говор... — попробовала возмутиться Лизочка. Но он ее прервал:

— Молчи. Нас никто не слышит.

И прибавил шепотом:

— Я сам защищу тебя от злословия.

«Уж скорее бы кончился этот обед!» — думала Лизочка.

Но тут заговорил какой-то оратор, и Гутбрехт притих.

— Я живу странной, но глубокой жизнью! — сказал он, когда оратор смолк. — Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я производжу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересно. Вы, конечно, знаете Анну Петровну? Жену нашего известного деятеля?

— Конечно знаю, — отвечала Лизочка. — Очень почтенная дама.

Гутбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погарцевал на месте.

— Так вот эта самая почтенная дама — это такой бесенок! Дьявольский темперамент. На днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней сделалось! Она почти потеряла сознание! Совершенно не помня себя, она закатила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла. Вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон-Жуан. Нет. Я тоньше! Одухотвореннее. Я виртуоз

чувства! Вы знаете Веру Экс? Эту гордую, холодную красавицу?

— Конечно знаю. Видала.

— Ну так вот. Недавно я решил разбудить эту мраморную Галатею! Случай скоро представился, и я добился своего.

— Да что вы! — удивилась Лизочка. — Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? Разве можно рассказывать!

— От вас у меня нет тайн. Я ведь и не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот. Это было вечером, у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был, в числе прочих, этот верзила Сток или Строк — что-то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Ну да это ни на чем не основанные сплетни. Она холодна как лед и пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда (нас было человек шесть, все, по-видимому, ее близкие друзья) перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, малоинтересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине. И вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. Если бы вы знали, что тут сделалось с моей Галатеей! Как вдруг оживился этот холодный мрамор! Действительно, вы только подумайте: человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не

говоря худого слова, то есть, я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест. Она вскочила как тигрица. Она не помнила себя. В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина. Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне плюху. Не знаю, что было бы, если бы мы были одни! На что был бы способен оживший мрамор ее тела. Ее выручил этот гнусный тип Сток, Строк. Он заорал: «Молодой человек, вы старик, а ведете себя как мальчишка!» — и вытурил меня из дому.

С тех пор мы не встречались. Но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. И знаю, что она будет избегать встречи со мной. Бедняжка! Но ты притихла, моя дорогая девочка? Ты боишься меня. Не надо бояться Вовочку!

Он сделал «мусеньку», поджав губы бантиком и поморгав глазами.

— Вовочка добленький.

— Перестаньте, — раздраженно сказала Лизочка. — На нас смотрят.

— Не все ли равно, раз мы любим друг друга. Ах, женщины, женщины. Все вы на один лад. Знаете, что Тургенев сказал, то есть Достоевский — знаменитый писатель-драматург и знаток. «Женщину надо удивить». О, как это верно. Мой последний роман... Я ее удивил. Я швырял деньгами, как Крез, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики. Потом огромную коробку конфет. Полтора фунта, с бантом. И вот, когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете, как это сразу ударило ее по нервам? Все

эти безумства, цветы, конфеты, в проекте вечер в кинематографе «Парамоунт», и вдруг — стоп. Жду день, два. И вдруг звонок. Я так и знал. Она. Входит, бледная, трепетная... «Я на одну минутку». Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно, но все же — из деликатности — вопросительно:

— Моя?

Она отстранила меня...

— И закатила плюху? — деловито спросила Лизочка.

— Н-не совсем. Она быстро овладела собой. Как женщина опытная, она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала: «Дайте мне, пожалуйста, двести сорок восемь франков до вторника».

— Ну и что же? — спросила Лизочка.

— Ну и ничего.

— Дали?

— Дал.

— А потом?

— Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел.

— И не отдала?

— Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как-нибудь оправдать свой визит ко мне. Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв!

Лизочка задумалась.

— Да, конечно, — сказала она. — А по-моему, вам бы уж лучше плюху. Практичнее. А?

ДЕНЬ

Гарсон долго вертелся в комнате. Даже пыль вытер — чего вообще никогда не делал.

Очень уж его занимал вид старого жильца.

Жилец на службу не пошел, хотя встал по заведенному в семь часов. Но вместо того чтобы, кое-как одевшись, ковылять, прихрамывая, в метро, он тщательно вымылся, выбрился, причесал остатки волос и — главное чудо — нарядился в невиданное платье — твердый узкий мундир, с золотым шитьем, с красными кантами и широкими красными полосами вдоль ног.

Нарядившись, жилец достал из сундучка коробочку и стал выбирать из нее ленточки и ордена. Все эти штуки он нацепил себе на грудь с двух сторон, старательно, внимательно, перецеплял и поправлял долго. Потом, сдвинув брови и подняв голову, похожий на старую сердитую птицу, осматривал себя в зеркало.

Поймав на себе весело-недоумевающий взгляд гарсона, жилец смутился, отвернулся и попросил, чтобы ему сейчас же принесли почту.

Никакой почты на его имя не оказалось.

Жилец растерялся, переспросил. Он, по-видимому, никак этого не ожидал.

— Мосье ведь никогда и не получал писем.

— Да... но....

Когда гарсон ушел, жилец тщательно прибрал на своем столике рваные книжки — Краснова «За чертополохом» и еще две с ободранными обложками, разглядел листок календаря и написал на нем сверху над числом: «День ангела».

— Н-да. Кто-нибудь зайдет.

Потом сел на свое единственное кресло, прямо, парадно, гордо. Просидел так с полчаса. Привычная постоянная усталость опустила его голову, закрыла глаза, и поползли перед ним ящики, ящики без конца, вниз и вверх. В тех ящиках, что ползут вниз длинной вереницей, скрепленной цепями, лежат пакеты с товаром. Пакеты надо вынуть и бросить в разные корзины. Одни в ту, где написано «Paris», другие туда, где «Province». Надо спешить, успеть, чтобы перехватить следующий ящик, не то он повернется на своих цепях и уедет с товаром наверх. Машина...

Ползут ящики с утра до вечера, а потом ночью во сне, в полусне — всегда. Ползут по старым письмам, который он перечитывает, по «Чертополоху», по стенным рекламам метро...

Жилец забеспокоился, зашевелил усами, задвигал бровями — открыл глаза.

Заботливо оглядел комнату. Заметил, что наволочка на подушке грязновата, вывернул ее на другую сторону, посмотрел в окошко на глухую стену, прямо на трубу с флюгером, там, наверху, подумал, надел пальто, поднял воротник, чтоб спрятать шитье мундира, и спустился вниз.

Через окошечко бюро выглянула масляно-расчесанная голова кассирши и уставилась белыми глазами на красные лампасы, видневшиеся из-под пальто.

Жилец, обыкновенно втянув голову в плечи, старался поскорее пройти мимо, но на этот раз он подошел и долго и сбивчиво стал толковать, что он сейчас вернется и, если в его отсутствие кто-нибудь зайдет — один господин, или двое, или даже господин с дамой — наверно, кто-нибудь зайдет, — то пусть они подождут.

Кассирша отвечала, что все поняла, и повторила отчетливо и очень громко, как говорят с глуховатыми либо с глуповатыми.

Жилец скоро вернулся с пакетиком.

— Никого не было?

— Никого.

Постоял, пожевал губами, словно не верил.

Поднявшись к себе, развернул из пакетика хлебец и кусочек сыру и торопливо съел, поглядывая на дверь, и долго потом счищал крошки с мундира.

Потом опять сел в свое кресло, и опять поплыли ящики. Может быть, все-таки придет полковник. Если нашел службу и занят, так зайдет вечером. Пойдем в кафе, посидим, потолкуем. Наверное, придет.

Ящики приостановились и поплыли снова.

Потом заговорили французские голоса, громкие и сердитые, о каком-то пакете, попавшем не в ту корзину, заняло простреленное плечо и контуженое колено. Ящики остановились, и сон упал глубже — в накуренную большую комнату с огромным золоченым зеркалом. У людей, сидевших в ней, были внимательные и вежливые лица, блестели сквозь табачный дым нашивки, галуны и пуговицы. Кто-то говорил ему:

— А вы, ваше превосходительство, верите в благоприятный исход?

Он не понимал, забыл. Какой такой исход! Какие бывают исходы!

— У меня болит нога, — отвечает он. — Я ранен под Сольдау.

Но тот, который спросил, недоволен ответом.

— Я отказываюсь вас понимать, ваше превосходительство. Никакого Сольдау не было.

Он хочет возражать, но тут же соображает, что с его стороны бестактно было говорить о войне, которую тот не знает. Тот ведь убит в японскую войну.

— У меня болит нога.

Он не знает, что сказать, и чувствует, что все смолкли, смотрят на него и ждут.

И вдруг шорох. Поплыли ящики. Сон стал мельче, тоньше, боль в плече и колене определеннее.

— Они как будто против меня. Они не могут ничего этого понять и только каждый раз сердятся. Я же не виноват, что был убит не в японскую кампанию, а позже. Впрочем, когда же я был убит? Нет, здесь ошибка. Я не был убит.

За дверью шорохнуло.

Он вскочил и, спеша и хромая, бросился к двери!

— Entrez! Entrez!¹

За дверью, по темной стене отчетливо плыли ящики, а внизу что-то неясно шевелилось.

— Кошка.

Кошка смотрела человеческими глазами, испуганно и кротко.

Он хотел нагнуться, погладить, но стало больно.

— А у меня все колено болит, — сказал он и тут же вспомнил, что здесь Франция, и испугался, что забыл об этом, и повторил тихонько:

¹ Входите! Входите! (*фр.*)

— J'ai mal au genou¹.

Кошка шмыгнула во тьму, пропала.

Он зажег лампу.

— Семь часов.

И есть не хотелось.

— Нет. Никто не придет. Да и давно не видались. Пожалуй, несколько месяцев. Может, за это время успели большевиками сделаться. И очень просто.

Он хотел фыркнуть и рассердиться, но не нашел в себе ни жеста, ни чувства. Устал, лег на кровать, как был в орденах и мундире. Опять ящики.

— Ну что ж, ящики так ящики.

Пусть плывут. Ведь доплывут же до последнего?

«КЕ ФЕР?»

Рассказывали мне: вышел русский генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, — почесал переносицу и сказал с чувством:

— Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Генерал — это присказка.

Сказка будет впереди.

Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а вопреки законам физическим — взаимоотталкиванием.

¹ У меня болит колено (фр.).

Каждый лерюсс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его.

Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого лерюсса.

— Вор-Акименко, вор-Петров, вор-Савельев.

Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского «Le» для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки «дон».

— Дон-Диего, дон-Хозе.

Слышатся разговоры:

— Вчера у вора-Вельского собралось несколько человек. Были вор-Иванов, вор-Гусин, вор-Попов. Играли в бридж. Очень мило.

Деловые люди беседуют:

— Советую вам привлечь к нашему делу вора-Парченку. Очень полезный человек.

— А он не того... не злоупотребляет доверием?

— Господь с вами! Вор-Парченко? Да это честнейшая личность! Кристальной души.

— А может быть, лучше пригласить вора-Кусаченко?

— Ну нет, этот гораздо врее.

Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает.

— Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл?

И его больше пугает равнодушный ответ:

— А кто ж его знает — почему да где... Говорят, вор, ну и ладно.

— А вдруг это неправда?

— Ну вот еще! А почему бы ему и не быть во-
ром?

И действительно — почему?

Соединенные взаимным отталкиванием лерюсы определенно разделяются на две категории — на продающих Россию и спасающих ее.

Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгают своим главным делом, а если вы захотите у них справиться, почем теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.

Другую картину представляют из себя спасающие. Они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга.

К «продающим» относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят бело-каленой ненавистью.

— Слышали — вор-Овечкин какой оказался мерзавец! Тамбов продает.

— Да что вы! Кому?

— Как кому? Чилийцам.

— Что?

— Чилийцам — вот что.

— А на что чилийцам Тамбов дался?

— Что за вопрос! Нужен же им опорный пункт в России.

— Так ведь Тамбов-то не овечкинский, как же он его продает?

— Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с ворм-Гавкиным еще и не такую штуку выкинули: можете себе представить — взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой, как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство.

— А разве такое есть?

— Было. Положим, недолго. Один подполковник — не помню фамилии — объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки. Вот и проворонили Россию. А все он — вор-Овечкин. А вор-Коробкин — слышали? Тоже хо-рош! Уполномочил себя послом в Японии.

— А кто же его назначил?

— Никому не известно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-Сортировочное правительство. Существовало оно минут пятнадцать — двадцать, так... по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать.

— Да кто же его признает?

— А не все ли равно. Ему, главное, нужно было визу получить — для этого он и уполномочился. Ужас!

— А слышали последние новости? Говорят, Бах-мач взят!

— Кем?

— Неизвестно.

— А у кого?

— Тоже неизвестно. Ужас!

— Да откуда же вы это узнали?

— Из радио. Нас обслуживают три радио — советское «Соврадио», украинское «Украдио» и наше собственное первое европейское — «Переврадио».

— А Париж как к этому относится?

— Что Париж? Париж известно, — как собака на сене. Ему что.

— Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?

— Вряд ли. Сами знаете — еще Тютчев сказал, что «умом Россию не понять», а так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили.

— Н-да-м...

— Н-да-м...

Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:

— Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?

Действительно — ке?

КУКА

Клавдия всю жизнь была «подругой».

Есть такой женский тип в комедии нашей жизни.

«Подруга» всегда некрасива, добра, не очень умна. Ей поверяют тайны, когда трудно молчать, она хорошо исполняет поручения. «Подруга» часто влюбляется вместе со своей госпожой, за компанию.

Говорю «госпожой», потому что в женской дружбе почти никогда не бывает двух подруг. Подруга только одна. Другая — госпожа.

В Париже Клавдия попала в подруги к Зое Монтан, умнице, красавице, женщине с прошлым, с настоящим и будущим. Настоящее у Зои было, очевидно, хуже других времен, то есть прошлого и будущего. Пробовала сниматься в кинематографе, пробовала танцевать в ресторане, но все как-то не ладилось, пришлось остановиться на комиссионерстве: продавать жемчуг и шарфы.

Тут-то и прилипла к ней Клавдия, рисовавшая, вышивавшая, самоотверженно бегавшая по поручениям.

Зоя относилась к Клавдии чуть-чуть презрительно, но ласково. Узнала, что в детстве Клавдию звали Кукой. Понравилось.

— Это меня так младший братец прозвал. Со-кращенное, говорит, от кукушки. Оттого, что я такая веснушчатая.

У Зои в ее маленькой отдельной комнате всегда толклось много народу. И делового — с картонками и записками, и бездельного — с букетами и театральными контрамарками. Среди бездельных Кука отметила высокого, широкоплечего, с красивыми большими, очень белыми руками. Нос с горбинкой и брови со взлетом.

— На сокола похож.

Думала, что такой должен бы Зое понравиться. Но только раз проговорила Зоя, рассказывая о какой-то пьесе:

— Такую блестящую роль отдали толстому увальню. Здесь нужен актер-красавец, обаятельный,

властный, чтобы сердце дрожало, когда он взглянет. Кто-нибудь вроде нашего князя Танурова.

— Князь на сокола похож, — сказала Клавдия.

Зоя нервно задергала плечами, неестественно засмеялась:

— Кука, моя Кука! Ну до чего ты у меня корявая, так это прямо на человеческом языке выразить нельзя.

И Кука поняла, что Зое князь нравится. И как только поняла, сразу за компанию и влюбилась.

Князь Куку совсем не замечал. Маленькая, рыженькая, хроменькая, одевалась она всегда в какие-то защитные цвета и благодаря этим цветам и собственной естественной окраске так плотно сливалась с окружающей средой — со стеной, с диваном, что ее и при желании нелегко было заметить. Душа у нее тоже принимала окраску «среды». Зоя весела, и Кука улыбается. Зоя молчит, и Куки не слышно. Так где же ее выделить из этого фона, звонкого и яркого?

Зоя нервничала, похудела. Стала рассеянной. О князе никогда не говорила, но, если Кука о нем упоминала, она сразу затихала и настораживалась.

Раз неожиданно сказала:

— Здоровое животное. У него, наверное, как у лошади, селезенка играет.

И лицо ее стало злое и несчастное.

Кука мечтала о князе. Мечтала не для себя, а за Зою. Разве смела она — для себя?

Вот Зоя утром сидит с ним на балконе где-то у моря. На ней розовый халатик, тот самый, который Кука сейчас разрисовывает для американки.

Плечи у Зои смуглые, душистые, сквозят через золотое кружево. Князь улыбается и говорит... Кука совсем не может себе представить, что он говорит. Может быть, просто «счастье! счастье! счастье!».

Настали тревожные дни. Зоя двое суток пролежала в постели, ничего не ела и молчала. На третий день пришел князь, и Зоя хохотала, как пьяная, и все приставала к Куке:

— Князенька, посмотрите, какая моя Кука чудесная! Сидит, веснушками шевелит.

А когда князь ушел, она долго сидела с закрытыми глазами и на вопросы не отвечала. Потом, не открывая глаз, сказала:

— Уйдите же! Вы видите, что я устала.

Но вот настал вечер, когда Зоя сама пришла к Куке, бледная, словно испуганная.

— Друг мой, — сказала она. — Сегодня Господь сотворил для меня небо и землю. Сегодня Константин сказал мне, что любит меня. И он меня поцеловал.

Кука, похолодев от восторга, встала перед ней на колени и заплакала.

— Господи! Господи! Счастье какое!

— Я так и сказала ему — небо и землю, — повторила Зоя в экстазе. — Небо и землю.

А Кука ни о чем не спрашивала. Молилась и плакала.

Утром Кука забежала в церковь поставить свечечку за рабов Божьих Константина и Зою. Хотела поставить перед Распятием, но подумала, что лучше не у страдания гореть ей, а у торжества и радости, и поставила к Воскресению.

Потрогала листки — с красными надписями за здоровье, с черными — за упокой.

— За упокой для души умершей. А почему нет за покой для живой и томящейся? И почему есть о здравии и нет о счастье?

Помолилась, всплакнула от радости.

— Какое счастье, что есть на божьем свете такая красота, как эти люди и их любовь. Вот и я, маленькая, корявенькая, все-таки что-то для них сделала.

Пошли дни новые, похожие на прежние. Раб Божий Константин возил рабу Зою завтракать на своем, говорил он, «гнусном фордике». Иногда брали с собою и Куку.

Зоя никогда не возвращалась к откровенному разговору с Кукой и не вспоминала о том дне, когда Господь сотворил для нее небо и землю. Как будто ей даже было неприятно, что она так тогда размякла. Потом Кука поняла, что у князя есть жена.

— Какая трагедия! И как прекрасна Зоя в своей самозабвенной жертве. Такая красавица! Такая гордая!

Шли дни. И потом настал день.

Зоя с вечера попросила Куку отвезти заказ в Сен-Югу. Князь предложил, что довезет ее на своем «гнусном фордике». Кука и обрадовалась, и испугалась. Как так — вдвоем... О чем же она с ним говорить будет?

Ночью придумывала всякие предлоги, чтобы отказать, но как-то ничего не вышло. Утром с отчаянием в сердце и с картонкой в руках ждала у подъ-

езда, чтобы он не поднялся и не увидел ее ужасной комнатухи.

Князь сам управлял автомобилем и поэтому, слава богу, говорил немного. Кука исподтишка любовалась его бровями, его сильными руками.

«Князь-сокол!»

Он мельком взглянул на нее. Усмехнулся. Взглянул еще.

— Сколько вам лет?

— Двадцать девять, — испуганно ответила Кука.

— Я думал — четырнадцать.

Подъехали к дому заказчицы. Князь нажал несколько раз резину своего гудка, и элегантный лакей в полосатой куртке и зеленом переднике выбежал к воротам. Князь отдал ему картонку и повернул автомобиль.

«Как все сегодня нарядно, — думала Кука, пряча в рукава свои руки в нитяных перчатках. — И как я не подхожу ко всему этому».

— Ну-с, а теперь, — сказал князь, — я предложу вам следующее: мы никому ничего не скажем и поедем завтракать.

Кука совсем перепугалась. Что значит «никому не скажем»? Впрочем, это, может быть, какая-нибудь смешная поговорка или цитата.

— Нет, мерси, я не голодна, мне пора домой.

— Кука! Маленькая эгоистка! Она не голодна! Зато я голоден. Надо же мне какую-нибудь награду за то, что развожу ваши картонки. Неужели нельзя опоздать на полчаса? Мы никому ничего не скажем и живо позавтракаем.

Опять это «никому ничего»... Князь повернул, не доезжая до моста, и остановился около малень-

кого рестораничка, нарядно украшенного фонарями и гирляндами зелени.

Кука старалась настроить себя на радостный лад. Так все необычайно. Она сидит, как настоящая дама, с этим удивительным человеком. Он наливает ей какого-то крепкого вина. Какая красивая рюмка. Но нет радости. Растерянность и страх. Скорее бы кончилось. Как много вилок... Которую же надо взять? Неужели он не понимает, что ничего мне этого не нужно?..

Она подняла глаза и встретила его взгляд, пристальный и веселый.

— Я гляжу на вас, маленькая моя, не меньше пяти минут. О чем вы думаете?

Кука молчала. Чувствует, что краснеет до слез.

Он вдруг взял ее руку:

— Маленькая моя! Необычайная! Смотрите, как ее ручка дрожит. Словно крошечная птичка. И пульс бьется. Господи! Бьется сердце маленькой птички. Кукиной руки!

Он прижал ее руку к своей большой горячей щеке, потом стал целовать ее быстрыми твердыми поцелуями.

— Кука, маленькая, как я люблю вас.

И, точно в пояснение, прибавил:

— Серьезно, сейчас я вас одну в целом мире люблю.

Кука не шевелилась.

Он обхватил рукой ее плечи и, быстро нагнувшись, поцеловал ее в губы.

Кука закрыла глаза.

«Господи! Что же это? Это ли счастье — этот ужас? Зоя, красавица, гордая, и я, бедненькая, рва-

ленькая. Зоино счастье красивое, где же оно? Куку, которая „веснушками шевелит“, целуют теми же губами...»

И вдруг поняла, что значит «никому ничего не скажем»...

— Ну, маленькая моя! — говорит ласково-насмешливый голос. — Ну можно ли так бледнеть?

Лакей убирал со стола закуску, и князь, слегка отодвинувшись от Куки, сказал, наливая уксус в салатник:

— Сегодня удивительный день. Я бы мог выразиться, что сегодня Бог сотворил для меня небо и землю. Ай, что с вами?

Он схватил ее за руку выше локтя. Ему показалось, что она падает. Но она вырвалась и встала, бледная, страшная, с открытым ртом, задыхающаяся. И вдруг подняла стиснутые кулаки, прижала их к щекам, закричала, качаясь:

— Подлый! Вы подлый! Обнимали меня здесь, как портнишку, как швейку... пусть... это пусть... это забавлялись... чего со мной считаться... А ее святые слова вы не смеете повторять! Не смеете!.. Убью!.. Убью!..

Голос у нее хрипел и срывался, и чувствовалось, что, будь у нее силы, она кричала бы звенящим отчаянным криком.

Князь, криво улыбаясь, налил в стакан воды. Взял ее за плечо. Она отскочила, словно обожглась:

— Не смей прикасаться ко мне, гадина! Не смей! Убью-у-у!

И была в ее дрожавшем бескровном лице такая безмерная боль и такое гордое отчаяние, что он перестал улыбаться и опустил руки.

Не сводя с него глаз, словно как зверя держа его взглядом на месте, она обошла стол и вышла, стукнувшись о притолку плечом.

— О-о-о! — со стоном вздохнул он.

Попробовал насмешливо улыбнуться:

— *Quelle corvée!*¹

Но вдруг заметил на столе Кукины перчатки. Простые, бедненькие, рваненькие Кукины перчатки.

Слишком маленькие и ужасно бедные на твердой холодной скатерти, рядом с хрустальным бокалом, рядом с резным серебром прибора.

И, не понимая, в чем дело и что с ним происходит, князь почувствовал, что тут уж никак не устроишь так, чтобы все вышло забавно и весело.

— Но ведь, право же, я не хотел ее обидеть. Неужели я был некорректен?

ЖАНИН

Теплый, душистый воздух дрожит от жужжащих электрических сушилок. Запах пудры, духов, жженных волос и бензина томит, как полдень в цветущих джунглях.

Двенадцать кабинок задернуты плюшевыми портьерами. Портьеры шевелятся, дышат. Там, за ними, творятся тайны красоты — рождаются Венеры из пены... мыльной.

Мосье Жорж, высокий, с седеющими височками, больше похож в своем белом халате на хирурга, чем на парикмахера, светски улыбаясь, откидывает портьеру и приглашает клиентку.

¹ Какая тягомотина! (*фр.*)

— Чья очередь?

Толстая старуха, трясая щеками, подымается с кресла:

— Моя.

— Завивка?

— Нет, — отвечает старуха басом. — Остригите меня мальчиком.

Мосье Жорж почтительно пропускает ее в кабинку.

Мадемуазель Жанин, одиннадцатая маникюрша, долго смотрит им вслед. Ей безразлично, что дама, которую сейчас будет стричь мосье Жорж, стара и безобразна. Он будет дотрагиваться до ее волос своими белыми ласковыми руками, и Жанин ревнует.

Может быть, дама скажет ему: «Мосье Жорж, вы так прекрасны, что я предлагаю вам квартиру, автомобиль и огромное жалованье, а кроме жалованья, я выйду за вас замуж и назначаю вас своим наследником».

— Мадемуазель! Вы мне делаете больно! Не сжимайте так мой палец!

Жанин смотрит на свою клиентку и не сразу понимает. Ах да! Маникюр.

— Мадам хочет немножко лаку?

— Я уже два раза ответила вам, что не хочу.

У клиентки сердитые круглые глаза. Она не даст на чай.

Жанин изящно улыбается и начинает мило щекотать:

— Сегодня чудесная погода. Мадам любит хорошую погоду? Да, да, все наши клиентки любят хорошую погоду. Даже странно. Хорошая погода очень

приятна. А когда дурная погода, тогда идет дождь. А летом бывает гораздо жарче, чем зимой, и солнце быва...

Она запнулась.

В дверях между складками драпировки внимательно смотрит на нее косыми глазами желтое лицо.

— Ли!

Лицо скрылось.

Как смеет он смотреть на нее! Ведь она отказала ему наотрез. Быть женой китайца! Правда, он много зарабатывает. Он делает педикюр. Все в парикмахерской смеются и дразнят ее... Мосье Жорж не дразнит. Он сделал хуже. Он серьезно сказал:

— Что ж, Ли хорошо зарабатывает. Об этом стоит подумать.

Это было большее всего...

— Довольно, мадемуазель! Смотрите, вы мне совсем криво срезали ногти!

Какие круглые глаза у этой клиентки!

Морис, молоденький помощник мосье Жоржа, проходит мимо. Он бледен и шепчет дрожащими губами.

Это значит, что сегодня суббота и Жорж посылает бедного мальчика брить бородатую консьержку.

О-о, сколько горя на свете!

Клиентка встает.

Жанин идет за ней к кассе. В длинных зеркалах отражается ее тонкая фигурка, стройные ножки в лакированных башмачках.

Может быть, сегодня придет делать маникюр молодой американский миллиардер; он будет выразительно смотреть на нее, а потом скажет «эу»

и наденет ей на палец обручальное кольцо. У них будет свой особняк в парке Монсо, и мосье Жорж будет приходить причесывать ее на дом.

— Мосье Жорж? Пусть подождет. Я с моим мужем-американцем пью наше утреннее шампанское.

— Мамзель Жанин! Маникюр!

Ее посылают в ту самую кабинку, где только что щелкал ножницами мосье Жорж.

Толстая старуха, обстриженная, с опущенными жирными щеками, стала похожа на деревенского кюре. Она смотрит на свое отражение в зеркале, а мосье Жорж извивается над ней, как шмель над розой, жужжа электрической машинкой.

— Мадам чувствует себя легче? Моложе? Взгляните — совсем мальчик!

Он подает ей ручное зеркало, и мадам, ухватив его толстой лапой, игриво поворачивает голову и смотрит на деревенского кюре.

— Восхитительно! — решает за нее мосье Жорж.

Как он умеет смотреть! В его глазах неподдельный восторг.

Жанин берет дрожащими руками толстую красную лапу и начинает, изящно улыбаясь, подтачивать ей ногти.

— Мадам любит остро или кругло? У мадам такие прелестные ручки. Вот если бы у меня были такие!

Мосье Жорж насмешливо улыбается.

— Не будьте завистливы, мадемуазель!

Жанин весело смеется, как будто услышала что-то необычайно остроумное.

«О! свинья! свинья! свинья!» — злобно думает она и улыбается беспечно и кокетливо.

В соседней кабинке кто-то страстно и пламенно убеждает слушателей, что запах сирени не идет к стриженным волосам.

— Только «Шипр»! Только «Шипр»! Вообще — мужские духи!

— Вы сегодня двум клиенткам порезали пальцы! — строго говорит хозяйка.

Жанин тупо смотрит в сторону.

На ней кокетливая шляпка, изящное манто... В подрисованных глазах мерцает мечта об американце и тоска о мосье Жорже, а подмазанный ротик улыбается, как будто достиг всего.

Она медленно выходит из парикмахерской.

Может быть, Жорж выйдет одновременно и до угла они пойдут вместе...

На улице темно. Громко смеясь, пробежали Клодин и Мишлин. Перед витриной, где выставлены куклы в модных прическах, кривляется коротконогая тень. Это китаец Ли дразнит восковых красавиц, посылает им поцелуи, высовывает язык.

Темно. Дождь дрожит бисерными ниточками перед окном. Хлопнула дверь... Мосье Жорж? Мосье Жорж!

Ушел...

ТРИ ПРАВДЫ

Что рассказывала Леля Перепегова.

— Вы ведь знаете, что я никогда не лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла от Сергея Ивановича, то, значит, действительно, жизнь с ним становится

ся невыносимой. При всей моей кротости я больше терпеть не могла. Да и зачем терпеть? Чего ждать? Чтобы он меня зарезал в припадке бешенства? Мерси. Режьтесь сами.

В воскресенье пошли обедать в ресторан. Всю дорогу скандалил, зачем взяла Джипси с собой. Только, мол, руки оттягивает, и то, и се, и пятое, и десятое. Я ему отвечаю, что если и оттянет руки, так мне, а не ему, так и нечего меня с грязью смешивать. И зачем было заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчал.

Но это еще не все.

Приходим в ресторан. Садимся, конечно, около дверей. Люди находят хорошие места, а мы почему-то либо у дверей, либо у печки. Я вскользь заметила, что все это зависит от внимательности кавалера. Не прошло и пяти минут, как он говорит: «Вот освободилось хорошее место, перейдем скорее».

«Нет, — говорю, — мне и здесь отлично».

Потому что я прекрасно понимала, что пересадку он затеял исключительно потому, что против меня оказался прекрасный молодой человек. Все на меня поглядывал и подвигал — то перец, то горчицу. Видно, что из хорошего общества. Ел цыпленка.

Я совершенно не перевариваю ревности. Закапывать сцены из-за того, что вам подвинули горчицу! На это уж не одна Дездемона не пойдет.

— Мне, — говорю, — и здесь отлично.

Надулся. Молчит.

Однако, смотрю, — вторую бутылку вина прикончил.

— Сережа, — говорю, — тебе же ведь вредно!

Озлился, как зверь.

— Избавьте меня от вашего вмешательства и вульгарных замечаний.

О его же здоровье забочусь, и меня же оскорбляют.

Смотрю — требует третью. Это значит, чтобы меня наказать и подчеркнуть свое страдание.

Ладно. Вышли из ресторана.

— Сережа, — говорю, — может быть, ты возьмешь на руки Джипси, я что-то устала.

А он как рявкнет:

— Я ведь так и знал, что этим кончится! Ведь просил не брать! Терпеть не могу. Выступаешь как идиот, с моськой на руках.

Я смолчала. Опять не ладно.

— Чего, — кричит, — ты молчишь как мегера.

У него только и есть. Молчу — мегера, смеюсь — гетера. Только и слышишь что древнегреческие обидности.

Идем. Тащу Джипси. Сердцебиение, усталость — однако молчу, кротко улыбаюсь.

Смотрим — по тротуару, напротив ресторана, шагает Кирпичев. Ну чем я виновата? Я его не предупредила, что будем здесь.

Сергей Иванович, положим, смолчал. Но такое молчание хуже всякого скандала.

Поздоровались, пошли вместе. Ну тут он и начал свои фортели. То сзади плетется, то на три версты вперед убегает. Не могу, мол, идти так медленно. Да и нельзя, мол, весь тротуар занимать. А потом и совсем исчез.

Я вне себя от волнения. Кирпичев меня утешает, хотя сам исстрадался — худеет, бледнеет, ничего не ест. Молчит о чувстве своем, но догадаться не-

трудно. Но с ним так легко говорится, приятно, интеллигентно. А с Сергеем Ивановичем так: либо ругаюсь, либо молчу, как какая-нибудь Юдифь с головой Олоферна.

Кирпичев довел меня до дому.

Пришла, жду, жду. Сергей Иванович явился только через час.

— Где вы были?

— Так, немножко прошелся.

А сам отворачивается. Наверное, шагал как идиот и обдумывал план самоубийства. Я не перевариваю ревности.

Я собралась с духом и сказала ему прямо:

— Сергей Иванович, я вам должна одно сказать: во-первых...

А он как заорет:

— Если одно, так и говорите одно, а не заводите во-первых, да в-четвертых, да в-десятих на всю ночь. А я, — говорит, — вам прямо скажу — все это мне надоело, и я завтра же съезжаю. А сейчас прошу дать мне выспаться.

И завалился. Слышу храп. Притворяется нарочно, будто спит. Всю ночь притворялся, утром притворился, будто выспался, уложил чемодан и ушел.

Я знаю, что от ревности человек на все готов, но чтобы при этом еще так не владеть собою... Не знаю, что еще меня ждет. Кирпичев поклялся защитить меня от безумца.

Что рассказывал Сергей Иванович.

— Итак, значит, пошли мы в ресторан. Взяли с собой собачонку. Умолял не брать — нет, взбеленная, и никаких. Сразу испортила настроение. Но, однако, смолчал.

В ресторане — вечная история — куда ее ни посади, то ее печет, то на нее дует. Но я дал себе слово сдерживаться. Вижу, освободилось место, и предлагаю самым ласковым тоном пересесть. И вдруг в ответ перекошенная физиономия и змеиный шип:

— Мне и тут ладно.

Ладно так ладно. Мне наплевать. Умолять и в ногах валяться не стану. Молчу. Ем. Вино, кстати, там недурное.

Увидела, что я пью с интересом, и прицепилась. Тут уж я вскипел. Что, вообще, эти дурищи думают?

Для чего человек в ресторан ходит — зубы чистить, что ли? Человек ходит для того, чтобы есть и поедаемое запивать. Вот для чего. Их идеал, чтобы человек смотрел, как она ест, а сам бы пожевал вареную морковку, запил водичкой, как заяц, и все время говорил бы комплименты. Куда как весело!

Вышли из ресторана — так и знал — тычет мне на руки свою моську. Ведь предупреждал! Ведь просил! Действительно, возмутительно!

Встретили какого-то болвана Скрипкина или что-то в этом роде. Воспользовался случаем, чтобы удрать. Жажда безумная. Выпил пива. Эта дурища, между прочим, твердит как дятел, что вино жажды не утоляет. Объяснял идиотке, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жидкость. А она говорит, что селедочный рассол тоже жидкость, однако жажды не утолит.

Я ей на это резонно отвечаю, что, если она истеричка, надо лечиться, а не бросаться на людей.

Вернулся домой — вижу, приготовилась скандалить.

Пресек сразу:

— Завтра уезжаю.

И лег спать.

Слава богу, не догадалась, что был в бистро, — старался не дышать в ее сторону.

Нет, довольно, раз мы друг друга не понимаем и говорим на разных языках.

Довольно.

Что бы рассказала Джипси.

— Пошли в ресторан.

Хозяева всю дорогу лаяли.

В ресторане ели дрянь. Чужой господин ел цыпленка. Я смотрела на него, а он на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, он дал бы косточку.

Ничего мне не попало.

На улице подошел тот, кто каждый день лает с хозяйкой на прогулке и пихает меня ногой.

Хозяин убежал, а тот просунул свою лапу под хозяйкину лапу и совсем скovyрнул меня в сторону. От него пахло жареной телятиной, а сам он тихонько подтягивал, будто голодный. Потом и хозяйка стала подтягивать. Сама виновата — зачем ела артишок и рака. Дура.

Оба притворялись голодными, да меня не надуеть.

Пришли к дому и стали у подъезда друг другу морды обнюхивать.

Она, верно, первая донюхалась, что он ел телятину, оттолкнула его и ушла.

Мы уже улеглись, когда пришел хозяин. От него несло двумя литрами пива — мне чуть дурно не сделалось. Где у них нюх? Я ему твякнула в самую морду.

— Барбос!

Теперь хозяина нет, а приходит тот. Она воеет, а он тявкает. А чтобы угостить шоколадом собаку, об этом, конечно, ни одному из них и в голову не придет.

Самая жестокая собачья разновидность — так называемый человек. Низшая раса, как подумаешь, что есть не верящие в белую кость!

О НЕЖНОСТИ

1

«А нежность... где ее нет!» — сказала Обломову Ольга.

Что это фраза? Как ее следует понимать? Почему такое уничтожение нежности? И где она так часто встречается?

Я думаю, что здесь неточность, что не нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувство.

Но как можно осудить нежность?

Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви? Сестра нежности — жалость, и они всегда вместе.

Увидите вы их не часто, но иногда встретите там, где никак не ожидали, и в сочетании самом удивительном.

Любовь-страсть всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, все время боится упустить потерянное.

Любовь-нежность (жалость) — все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». Только она одна и не ищет.

Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот. Нежность идет сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке. Поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому.

— Деточка! Крошечка!

Пусть деточке пятьдесят лет, а крошечке семьдесят, нежность идет сверху, и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них.

Не может Валькирия, несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его зайнойкой. Она покорена силой Зигфрида, в ее любви — уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может.

Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит держиморду, она будет искать момента, принижающего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности.

— Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным.

Это нежность слепо, ощупью ищет своего пути.

Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением,

что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже — что совсем уже необъяснимо — одна дама называла своего больного мужа капустой (*mon chou*) и кокошкой (*ma cocotte*¹).

— И знаете, — прибавляла она, — я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует.

— А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов?

— Нет, ровно никаких.

— Ну а как же вы выражаете свою нежность?

— Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах, но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, — прибавила она задумчиво, — я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных.

Нежность встречается редко и все реже.

Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. Любовь — единоборство.

— Ага! Любить? Ну ладно же.

Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого?

До нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои.

Кто познал нежность — тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу, и уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда.

¹ Здесь: душенька, любимчик (*фр.*).

В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью.

Ах, что мы знаем об этих «кротких женщинах». Ничего мы о них не знаем.

Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных.

В первый раз посетила она мою душу — давно. Душе моей было не более семи лет. Огромные семь лет. Самые полные, насыщенные и значительные эти первые семь лет человеческой жизни.

Был вечер, была елка. Были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида — весь аккорд душевных переживаний.

И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники, серые, с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась, и внутри, в животе у слоников, бренчали конфетки.

Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки.

Я высыпала из своего картонажа конфетки, живо их сгрызла, а самого слоника сунула под елку — пусть там спит, а за ночь придумаю, кому его подарить.

Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня поглядывает.

— Что бы это такое могло быть?

Я подошла к ней, и она тотчас же схватила куклино одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала.

— Что у тебя там?

Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала:

— Пожалуйста, не смей!

Тут для меня осталось два выхода: или сказать «хочу и буду» — и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее.

— Очень мне нужно!

Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала. Изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос.

И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два и, видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты.

В два прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый. Вылезающий из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха — все было так беззащитно, покорно и кротко и вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать:

— Лена! Глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите! Смотрите!

И Лена бежит, красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника. А я все кричу:

— Смотрите, смотрите! Она слона спеленала!

И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит:

— Не смей над ним смеяться! Ведь я тебя у-у-убить могу!

И плачет, очевидно, от ужаса, что способна на такое преступление.

Мне не больно от ее кулака. Он маленький и похож на резинку, но то, что она защищает своего уродца от меня, большой и сильной, умеющей — она это знает — драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный, в тряпочном чепчике, — все это такой болью, такой невыносимой, беспредельной, безысходной жалостью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать... Картонного слоника с красной попонкой — уродца в тряпочном чепчике — забуду ли я когда-нибудь?

2

И вот еще история — очень похожая на эту. То же история детской души.

Был у моих знакомых, еще в Петербурге, мальчик Миша, четырех лет от роду.

Миша был грубый мальчишка, говорил басом, смотрел исподлобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос: «Бум-бум-бум» — и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу.

Плясал, только когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша от стыда, что ли, приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям — выше он достать не мог.

Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо, развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно назло, потому что при этом поглядывал исподтишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запускал руку в вазочку с вареньем, — одним словом, был отпетый малый.

И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник.

Миша потащил его к своим игрушкам, к автомобилю, паяцу, кораблю и барану, поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собою в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый «до плеч» простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголочке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу, голого и холодного, — у его ног.

На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Подсвечник оставили в детской, но не позволили брать с собою в кровать. Миша спал спокойно, и, просыпаясь, поднимал голову, и озабоченно смотрел в сторону подсвечника — тут ли он.

А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи.

И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали — доктор запретил, — так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел. Взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую. Потом слышно было, как он запел: «Бум-бум-бум» — и затопал медвежью пляску.

А утром нянька, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой — он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего, и, отдав, плясал и пел от радости.

3

Мы жили в санатории под Парижем.

Санатория принадлежала русскому врачу, и почти все ее население было русское.

Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали.

Настоящих больных было только двое — чахоточная девочка, которую никто никогда не видел, и злющий старик, поправляющийся от тифа.

Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто-то проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза.

Вокруг старика трепетной птицей виляла его жена. Женщина немолодая, сухая, легкая, с лицом увядшим и с такими тревожно-счастливыми глаза-

ми, которые точно увидели радость и верить этой радости боятся.

И никогда она не сидела спокойно. Все что-то поправляла около своего больного. То перевертывала ему газету, то взбивала подушку, то подтыкивала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. Все эти услуги старик принимал с явным отвращением, а она от страха перед этим отвращением роняла ложку, проливала молоко, задевала его газетой по носу. И все время улыбалась дрожащими губами и рассказывала всякие веселые вещи. Расскажет и засмеется, чтобы показать ему, что это смешно, что это весело. Он делал вид, что не слышит, и отворачивался.

Когда он засыпал в кресле, она позволяла себе сесть рядом и даже взять книгу. Но книгу она не читала, потому что, напряженно вытянув шею, прислушивалась к его дыханию.

Завтракал и обедал он у себя в комнате, и она одна спускалась в столовую. И каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала:

— Вот, может быть, вы мне поможете? Вот здесь крестословица. «Что бывает в жилом доме, в четыре буквы». Я думала «окно», но первая буква «и», потому что вертикально «женщина, обращенная в корову», значит Ио.

И поясняла:

— Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. Он всегда решает крестословицы, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. Ведь это единственное его развлечение. Так что уж мы

с ним всегда, после дневного отдыха, предаемся этому занятию. Больные ведь как дети. Я так рада, что хоть это его забавляет. Чтение для него утомительно. Так вы не знаете, что бывает в доме в четыре буквы на «и»? Ну так я спрошу у той барышни, что сидит на балконе.

И летит, легкая, сухая, на балкон, к среднему столику, от столика еще куда-нибудь и всем приветливо объясняет, что ее мужа развлекают крестословицы и как она ему помогает в трудных случаях.

— Знаете, больные, они как дети!

И ласково всем кивала и посмеивалась, точно все мы были в каком-то веселом с ней заговоре и, конечно, тоже радуемся, стараясь угадать трудное слово крестословицы, чтобы быть полезными очаровательному Сергею Сергеевичу.

Ее жалели и относились к ней с большой симпатией.

— Умная была женщина, бактериолог. Много научных работ. И вот бросила все и мечется с крестословицами.

— А что он собою представляет?

— Он? Да как вам сказать, — нечто неопределенное. Был как будто общественным деятелем, не из видных. Писал в провинциальных газетах. В общем, кажется, просто дурак с фанабериями.

Эти часа полтора во время завтрака были, кажется, лучшими моментами ее жизни. Это была подготовка к блаженному моменту, когда «ему», может быть, понадобится ее помощь.

И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного, когда кое-кто из пансионеров еще не встал из-за стола.

Она долго усаживала его, укрывала пледом, подкладывала подушки. Он морщился и сердито отталкивал ее руку, если она не сразу угадывала его желания.

Наконец он успокоился.

Она, радостно поеживаясь, схватила газету.

— Вот, Сереженька, сегодня, кажется, очень интересная крестословица.

Он вдруг приподнял голову, выкатил злые желтые глаза и весь затрясся.

— Убирайся ты, наконец, к черту со своими идиотскими крестословицами! — бешено зашипел он.

Она побледнела и вся как-то опустилась.

— Но ведь ты же... — растерянно лепетала она. — Ведь ты же всегда интересовался...

— Никогда я не интересовался! — все трясся и шипел он, со звериным наслаждением глядя в ее бледное, отчаянное лицо. — Никогда! Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! Идиот-ка!

Она ничего не ответила. Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. Но кто же может отнестись серьезно к такому смешному и глупому горю?

Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал.

4

Он жил в одном доме с нами. Он был когда-то другом моего покойного отца, кажется, даже товарищем по университету.

Но в то время, о котором я сейчас хочу рассказать, он почти никогда у нас не бывал. Видали мы его только рано утром на улице. Он гулял со своей собакой.

Но слышали мы о нем часто. Он был очень важным сановником, очень нелюбимым и осуждаемым за ретроградство, за «непонимание момента», крутым, злобным человеком, «темной силой, тормозящей молодую Россию на ее светлом пути». Вот как о нем говорили.

И еще говорили о том, что он тридцать пять лет состоит мужем женщины, выдающейся красотой и умом.

Пройти такой стаж было, вероятно, очень тяжело.

Быть мужем красавицы трудно. Но красота пропадает, и женщина успокаивается. Но если красавица вдобавок и умна — то покоя уже никогда не настанет. Умная красавица, потеряв красоту, заткнет пустое место благотворительностью, общественной деятельностью, политикой. Тут покоя не будет.

Жена сановника была умна, писала знаменитым людям письма исторического значения, наполняла свой салон передовыми людьми и о муже отзывалась иронически.

Впрочем, сейчас я не совсем уверена в том, что эта женщина была умна. В те времена была мода на вдумчивость и серьезность, на кокетничанье отсутствием кокетства, на наигранный интерес к передовым идеям и каким-то «студенческим вопросам». Если женщина при этом была красива и богата, то репутация умницы была за ней обеспечена.

Может быть, и в данном случае было так.

Сановник жил на своей половине, отделенной от комнат умной красавицы большой гостиной, всегда полутемной, с дребезжащими хрустальными люстрами, с толстыми коврами, о которые испуганно спотыкались пробежавшие с докладами молодые чиновники.

Утром, гуляя с няней, которая ходила за булками, мы встречали сановника. Он гулял со своей огромной собакой, сенбернаром.

Сановник был тоже огромный, обрюзгший и очень похожий на свою собаку. Его отвислые щеки оттягивали вниз нижние веки, обнаруживая красную полоску под глазным яблоком. Совершенно как у сенбернара. И так же медленно ступал он тяжелыми мягкими ногами. И шли они рядом.

— Ишь, собачища! — сказала раз нянька.

И мы не поняли, о ком она говорит, — о сановнике или о его собаке. «Собачища» ему подходило, пожалуй, больше, чем ей. У него лицо было свирепее.

Нас очень интересовала эта огромная собака. И раз, когда сановник остановился перед окном книжного магазина и собака остановилась рядом и тоже смотрела на книги, младшая сестра моя вдруг расхрабрилась и протянула руку к пушистому толстому уху, которое было на уровне ее лица.

— Можно погладить собачку? — спросила она.

Сановник обернулся, весь целиком, всем туловищем.

— Это... э-это... совершенно лишнее! — резко сказал он, повернулся и пошел.

Я потом за всю свою жизнь никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил таким тоном с трехлетним ребенком.

Действительно, — точно гавкнула собачища.

Дети страшно остро чувствуют обиду и унижение.

Я помню до сих пор, как она втянула голову в плечи, стала вся маленьким, жалким комочком и заковыляла к няньке.

Мы еще раза два-три видели их — его и собаку. Потом почему-то перестали их встречать.

И вот раз вечером, уже лежа в постели, услышала я нечто. Рассказывала горничная нашей няне, и они обе смеялись.

— И злющий был презлющий. Чиновника своего прогнал, и повара рассчитал, и швейцару нагоняй. Трех ветеринаров созвал. Ну, однако, пес евонный окошел. Ну, прямо и смех и грех, он его трогать не велел, а положил в зале в углу на ковер. Лакей Петро рассказывал — сидит, говорит, злющий, аж весь черный, у себя в кабинете, пишет-пишет, потом встанет да так тихомольно, крадучись, в залу пройдет, нагнется к собаке-то, лапу ей поцелует — ну, ей-богу, умора! Да опять тихомольно к себе в кабинет. Сядет и пишет. Попишет-попишет, задумается, да опять, да на цыпочках, раскорякой — и идет в залу. Лакей Петро позвал Семена кучера, да Ариша ихняя — там за дверью в передней все видно — так прямо все животики надорвали.

— Гос-с-споди спаси и помилуй! — ахала нянька. — Собачью лапу!

— Да ведь всю-то ноченьку так и не ложился. Ну и похохотали же мы! Ноги, говорит, внутрь завернет, ровно барсук, брюхом переваливает, думает — никто и не слышит, как он в залу-то. Сущяя комедь! Прямо, говорит, театру не надо.

— Ну-ну!

ТРУБКА

Никогда мы не знаем, что именно может повернуть нашу жизнь, скривить ее линию. Это нам знать не дано.

Иногда нечто, к чему мы относимся как к явному пустяку, как к мелочи, тысячи тысяч раз встречавшейся и пролетевшей мимо бесследно, — это самое нечто вдруг сыграет такую роль, что во все дни свои ее не забудешь.

Примеры, пожалуй, и приводить не стоит. Как будто и так ясно.

Вот идет человек по улице. Видит — лежит пуговица.

— Уж не моя ли?

В эту минуту, то есть как раз в то время, когда он пригнулся к земле и не видит, что около него делается, — проходит мимо тот самый человек, которого он тщетно разыскивает уже несколько лет.

Или наоборот — приостановился человек на одну минуту, чтобы взглянуть, не его ли это пуговица, и этой минутной задержки было достаточно, чтобы, подняв голову, он встретился нос к носу с кем-то, от кого уже несколько лет всячески удирал и прятался.

Но та история, о которой я хочу рассказать, несколько сложнее.

Жил-был на свете некто Василий Васильевич Зобов. Существо довольно скромное. Явился он в Петербург откуда-то с юга и стал работать в газете в качестве корректора.

Корректор он был скверный. Не потому, что пропускал ошибки, а потому, что исправлял авторов.

Напишет автор в рассказе из деревенской жизни:
«— Чаво те надоть? — спросил Вавила».

А Зобов поправит:

«— Чего тебе надо? — спросил Вавила».

Напишет автор:

«— Как вы смеете! — вспыхнула Елена».

А Зобов поправит:

«— Как вы смеете! — вспыхнув, сказала Елена».

— Зачем вы вставляете слова? — злится автор. —

Кто вас просит?

— А как же? — с достоинством отвечает Зобов. — Вы пишете, что Елена вспыхнула, а кто сказал фразу «Как вы смеете» — остается неизвестным. Дополнить и выправить фразу лежит на обязанности корректора.

Его ругали, чуть не били и в конце концов выгнали. Тогда он стал журналистом.

Писал горячие статьи о «городской детворе», об «отцах города и общественном пироге», о «грабильке и недобросовестном товаре мороженщиков».

На пожары его не пускали. Его пожарный репортаж принимал слишком вдохновенно-нероновские оттенки.

«Лабаз пылал. Казалось, сама Этна рвется в небеса раскаленными своими недрами, принося неисчислимые убытки купцу Фертову с сыновьями».

На пожары его не пускали.

Он вечно вертелся в редакции, в типографии, перехватывал займы у кого попало и вечно что-то комбинировал, причем комбинации эти, хотя были крепко обдуманы и хлопотно выполнены, редко приносили ему больше полтинника.

Внешностью Зобов был плюгав, с черненькими обсосанными усиками и сношенным в жгут ситцевым воротничком.

— Мягкие теперь в моде.

Семейная жизнь его, как у всех не имеющих семьи, была очень сложная.

У него была сожительница, огромная, пышная Сусанна Робертовна, дочь «покойного театрального деятеля», попросту говоря — циркового фокусника. У Сусанны была мамаша и двое детей от двух предшествующих Зобову небраков. Глухонемой сын и подслеповатая девочка.

Сусанна сдавала комнаты, мамаша на жильцов готовила, Зобов жил как муж, то есть не платил ни за еду, ни за комнату и дрался с Сусанной, которая его ревновала. В драках принимала участие и мамаша, но в бой не вступала, а, стоя на пороге, руководила советами.

Так шла в широком своем русле жизнь Василия Васильевича Зобова. Шла, текла и вдруг приостановилась и повернула.

Вы думаете — какая-нибудь необычайная встреча, любовь, нечто яркое и неотвратимое?

Ничего даже похожего. Просто — трубка.

Дело было так. Шел Зобов по Невскому, посматривал на витрины и довольно равнодушно остановился около табачного магазина. Магазин был большой, нарядный и выставил в своем окошке целую коллекцию самых разнообразных трубок. Каких тут только не было! И длинные старинные чубуки с янтарными кончиками, и какие-то коленчатые, вроде духового инструмента, с шелковыми кисточками,

тирольские, что ли. И совсем прямые, и хорошенькие толстенькие, аппетитно выгнутые, чтобы повесить на губу и, чуть придерживая, потягивать дымок-Носогрейки.

Долго разглядывал Зобов эти трубки и наконец остановился на одной и уже не отводил от нее глаз.

Это была как раз маленькая, толстенькая, которую курильщик любовно сжимает всю в кулаке, трубка старого моряка английских романов.

Смотрел на нее Зобов и чем дольше смотрел, тем страннее себя чувствовал. Словно гипноз. Что же это такое? Что-то милое, что-то забытое, как определенный факт, но точное и ясное, как настроение. Вроде того, как если бы человек вспоминал меню съеденного им обеда.

— Что-то такое было еще... такое вкусное, какое-то деревенское... ах да — жареная колбаса.

Вкус, впечатление — все осталось в памяти, — забыта только форма, вид, название, давшие это впечатление.

Так и тут. Стоял Зобов перед толстенькой трубкой и не знал, в чем дело, но чувствовал милую, давно бывшую и не вернувшуюся радость.

— Английская трубочка... старый капитан...

И вдруг заколыхалась, разъехалась в стороны туманная завеса памяти, и увидел Зобов страницу детской книжки и на странице картинку. Толстый господин в плаще, нахмурившись, сжимает бритой губой маленькую толстенькую трубочку. И подпись: «Капитан бодрствовал всю ночь».

Вот оно что!

Зобову было тогда лет десять, когда этот капитан на картинке бодрствовал. И от волнения и великого восхищения Зобов прочел тогда вместо «бодрствовал» — слова в детском обиходе не только редкого, но прямо небывалого, — прочел Зобов «бодросовал»: «Капитан бодросовал всю ночь».

И это «бодросованье» ничуть не удивило его. Мало ли в таких книжках бывает необычайных слов. Реи, спардеки, галсы, какие-то кабельтовы. Среди этих таинственных предметов человеку умеющему вполне возможно было и бодросовать.

Какой чудный мир отваги, честности, доблести, где даже пираты сдерживают данное слово и не сморгнув жертвуют жизнью для спасения друга.

Задумчиво вошел Зобов в магазин, купил трубку, спросил английского, непременно английского табаку, долго нюхал его густой медовый запах. Тут же набил трубку, потянул и скосил глаз на зеркало.

— Надо усы долой.

В редакции, уже наголо выбритый, сидел тихо, иронически, «по-американски», опустив углы рта, попыхивал трубочкой. Когда при нем поругались два журналиста, он вдруг строго вытянул руку и сказал назидательно:

— Тсс! Не забудьте, что прежде всего надо быть джентльменами.

— Что-о? — удивились журналисты. — Что он там брешет?

Зобов передвинул свою трубочку на другую сторону, перекинул ногу на ногу, заложил пальцы в проймы жилетки. Спокойствие и невозмутимость.

В этот день он у товарищей денег не занимал.

Дома отнеслись к трубочке подозрительно. Еще более подозрительным показалось бритое лицо и невозмутимый вид. Но когда он неожиданно прошел на кухню и, поцеловав ручку у мамыши, спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен, — подозрение сменилось явным испугом.

— Уложи его скорее, — шептала мамаша Сусанне. — И где это он с утра накачался? Где, говорю, набодался-то?

И вот так и пошло.

Зобов стал джентльменом. Джентльменом и англичанином.

— Зобов, — сказал кто-то в редакции. — Фамилия у вас скверная. Дефективная. От дефекта, от зоба.

— Н-да, — спокойно отвечал Зобов. — Большинство английских фамилий на русский слух кажутся странными.

И потянул трубочку.

Его собеседник не был знатоком английских фамилий, поэтому предпочел промолчать.

Он стал носить высокие крахмальные воротнички и крахмальные манжеты, столь огромные, что они влезали в рукава только самым краешком. Он брился, мылся и все время либо благодарил, либо извинялся. И все сухо, холодно, с достоинством.

Пышная Сусанна Робертовна перестала его ревновать. Ревность сменилась страхом и уважением, и смесь этих двух неприятных чувств погасила приятное — страсть.

Мамаша тоже стала его побаиваться. Особенно после того, как он выдал ей на расходы денег и по-

требовал на обед кровавый бифштекс и полбутылки портеру.

Дети при виде его удирали из комнаты, подталкивая друг друга в дверях.

Перемена естества отразилась и на его писании. Излишний пафос пропал. Явилась трезвая деловитость.

Раскаленные недра Этны сменили сухие строки о небольшом пожаре, быстро ликвидированном подоспевшими пожарными.

Всякая чрезмерность отпала.

— Все на свете должно быть просто, ясно и по-джентльменски.

Единственным увлечением, которое он себе позволял и даже в себе поощрял, была любовь к океану. Океана он никогда в жизни не видел, но уверял, что любовь эта «у них у всех в крови от предков».

Он любил в дождливую погоду надеть непромокайку, поднять капюшон, сунуть в рот трубку и, недовольно покрякивая, пойти побродить по улицам.

— Это мне что-то напоминает. Не то лето в Исландии, не то зиму у берегов Северной Африки. Я там не бывал, но это у нас в крови.

— Василь Василич! — ахала мамаша. — Но ведь вы же русский!

— Н-да, если хотите, — посасывая трубочку, отвечал Зобов. — То есть фактически русский.

— Так чего ж дурака-то валять! — не унималась мамаша.

— Простите, — холодно-вежливо отвечал Зобов. — Я спорить с вами не буду. Для меня каждая женщина — леди, а с леди джентльмены не спорят.

Сусанна Робертовна завела роман с жильцом-акцизным. Зобов реагировал на это подчеркнутой вежливостью с соперником и продолжал быть внимательным к Сусанне.

Революция разлучила их. Зобов оказался в Марселе. Сусанна с мамашей и детьми, по слухам прихватив с собой и жильца-акцизного, застряли в Болгарии.

Зобов, постаревший и одряхлевший, работал сначала грузчиком в порту, потом, там же, сторожем и все свои деньги, оставив только самые необходимые гроши, отсылал Сусанне Робертовне. Сусанна присылала в ответ грозные письма, в которых упрекала его в неблагодарности, в жестокосердии и, перепутав все времена и числа, позорила его за то, что он бросил своих несчастных убогих детей, предоставив ей, слабой женщине, заботу о них.

Он иронически пожимал плечами и продолжал отсылать все, что мог, своей леди.

Эпилог наступил быстро.

Возвращаясь с работы, потерял трубку. Долго искал ее под дождем. Промок, продрог, схватил воспаление легких.

Три дня бредил штурвалами, кубриками, кабельтовыми.

Русский рабочий с верфи забежал навестить. Он же принял его последнее дыхание.

— Вставай, старый Билль! — бормотал умирающий. — Вставай! Скорее наверх! Великий капитан зовет тебя.

Так и умер старый Билль, англичанин, мореплатель и джентльмен, помещик Курской губернии, города Тима, Василий Васильевич Зобов.

СОСЕД

В больших, важных домах с дорогими квартирами вы можете десять лет прожить, не зная, кто живет по соседству с вами. Иногда оказывается, что на одной лестнице, на той же площадке, живет старый ваш, давно вами потерянный из вида приятель, а вы узнаете об этом только случайно, из третьих рук

Совсем не так обстоят дела в дешевых домах, на грязненьких лестницах, без лифта и прочих фокусов. Там живут по-соседски, бегают друг к другу за перцем, за солью, за спичками, наскоро делятся семейными новостями и политическими ужасами.

Квартирка по соседству с Узбековыми пустовала недолго. На третий день уже распахнулись ее двери настежь, впустили четыре матраца, стол, буфет, кухонный шкафчик, три стула, два кресла и всякое мягкое барахло. Потом боком, сопровождаемый воплями, молящими об осторожности, въехал зеркальный шкаф. На этом дело закончилось. Новые жильцы водворились на место.

На следующий день Катя Узбекова, возвращаясь с базара, встретила на своей площадке выходящих из дверей новых соседей: озабоченную, еще молодую женщину общематеринского образца. С ней две девчонки, лет по восьми, и маленький толстый мальчик.

Женщина поздоровалась, спросила, где что надо покупать; девочки, востроносые, востроглазые, рассматривали Катю, разиня рот, удивленные ее видом и акцентом.

Толстый мальчик оказался человеком осторожным. Он спрятался за юбку матери и выглядывал

оттуда то с одной, то с другой стороны, по очереди: то одним, то другим глазком.

Так завязалась соседская жизнь. Занимали друг у друга соль, перец и спички, рассказывали политические новости.

Соседские девчонки бегали в школу. Толстый мальчик ходил с матерью утром на базар. Днем либо стучал чем ни попало, либо ревел во весь голос. Очевидно, жилось ему скучно.

Как-то встретив его на лестнице, Катя сказала:

— Пойдем ко мне, хочешь?

Мальчик подумал и спросил:

— Зачем?

— Я буду борщ варить.

— Что?

— Борщ.

— А я?

— А ты будешь смотреть, хочешь?

— Хочу.

Ему было немножко стыдно, что так быстро согласился. Продешевил себя. Ну да уж раз дело сделано, назад не разделаешь.

Пошел.

На кухне он влез на табуретку, выпучил глаза и в блаженном удивлении смотрел, как Катя резала картофель и свеклу. От усердия за нее надул губы и сопел носом.

— Сколько тебе лет? — спросила Катя.

— Четырнадцать, — отвечал он и посмотрел исподлобья, какое это произведет на нее впечатление.

— Должно быть, четыре, — решила Катя.

Он вздохнул и прошептал:

— Четыре.

Приготовление борща оказалось таким интересным, что даже было жаль, когда Катя сложила все нарезанное в кастрюлю и поставила на плиту.

— Это можно будет есть? — спросил он.

— Можно.

— Оттого, что вы русские?..

Квартира Катина была невелика: две комнатухи да кухня. Но толстый мальчик осматривал все, точно попал невесть в какие палаты или, по крайней мере, в музей.

Особенно поразила его лампадка в углу перед иконой. Поразила до испуга. Долго смотрел, хотел что-то спросить и не решился.

Когда мать постучала в дверь и позвала его домой, он ушел, совершенно подавленный и ошеломленный нахлынувшими на него впечатлениями. Икона, клетка для канарейки, которую скоро купят, корзинка, в которой прежде жил кот, — он теперь ушел в больницу, — круглая кофейная мельница, борщ со свеклой и бинокль.

Все это надо было обмыслить, обдумать, понять и оценить. Он ушел подавленный и даже забыл попрощаться. И когда мать строго ему об этом напомнила, он не остановился, а, наоборот, прибавил ходу.

Когда борщ был готов, Катя налила в мисочку и пошла угостить соседа.

— Пополь! — позвала мать.

Толстый мальчик вышел и взглянул на Катю смущенно и радостно. Выводы, сделанные из сложных первых впечатлений, были хорошие.

Вечером соседка вернула мисочку и рассказывала, что Поль от борща совсем потерял голову, что

он даже не знал, что на свете бывают такие вещи. Сосед Поль оценил русский суп.

С этого началась дружба.

Катя брала соседа с собой за покупками. Если условлено было идти после обеда, сосед с восьми часов утра уже стоял под дверью на лестнице, в пальто и в шапочке. Очень боялся, что уйдут без него. В Катин дом входил всегда с широко раскрытыми глазами, заранее готовыми удивиться на какое-нибудь радостное чудо.

«Лерюсс»¹ были удивительные существа. Ели самые странные вещи. Даже хлеб у них был не такой, как у всех, а черный.

И разговаривали «Лерюсс» не так, как все, а кричали, громко и звонко, точно перекликались где-нибудь в деревне через забор. И все время приходили к «Лерюссам» гости и съедали все, что только у «Лерюссов» было в буфете и в кухонном шкапчике, а «Лерюссы» только радовались и от радости даже пели. Вся жизнь «Лерюссов» была очень странная и очень интересная. Кроме всего прочего, они все время ели, и если к ним кто-нибудь приходил, и тот тоже принимался есть. Как только кто-нибудь появлялся в передней, оба «Лерюсса» начинали кричать друг другу:

— Скорее чаю!

Гость ничуть не удивлялся и был очень доволен.

Эту фразу — «скорее чаю!» — сосед Поль выучил прежде всего, даже прежде, чем «карашо» и «нитшево».

Дожидаюсь Кати на лестнице, он кричал в дверь:

— Скорэ тшаю!..

¹ Русские (от *фр.* les Russe).

Что, собственно говоря, это значит, он не спрашивал. Он, кажется, считал эти слова чем-то вроде боевого клича.

Удивляло его, кажется, больше всего то, что Катя, работая, поет. Француженки работают серьезно. Старухи ворчат, молодые кричат. Никто не поет.

Из Катиных песен больше всего понравилось ему:

Пойдем, Дуня, Дунюшка,
Во лесок, во лесок.
Сорвем, Дуня, Дунюшка,
Лопушок, лопушок.
Сошьем, Дуня, Дунюшка,
Фартушок, фартушок...

Мотив трудный, переливчатый, слова такие, что их и русскому слуху не сразу ухватить. Ужасно эта песенка соседу Полю понравилась. Сидел он, толстый, красный, на столе, с пряником в руке, и старательно выводил:

— Фахту-шок. Фахту-шок...

Перед Рождеством повела его Катя смотреть игрушки в магазинах.

Было холодно. Соседа нарядили в сестрину кофту и сверху, зашпилив концы, наvertели байковый платок. Сосед еле двигался, а когда его посадили, руки и ноги у него торчали прямо, не сгибаясь, как у деревянной куклы.

В автобусе две дамы громко разговаривали по-русски. Ухо соседа уловило знакомые звуки:

— Это русский автобус? — спросил он у Кати.

В окнах магазинов любовались «Пэр Ноэлями» и маленькими яслями с Младенцем Христом.

— У маленького Иисуса два отца? — спросил сосед.

— Что за пустяки! — сказала Катя. — Отец всегда один.

— А у него два, — упрямо сказал сосед. — Святой Иосиф и Пэр Ноэль.

Потом вздохнул и прибавил:

— Вы русские, вы этого не понимаете.

Спросил, почему русский Пэр Ноэль приходит на две недели позже?

Катя не знала, что ему ответить, чтобы он понял. Но он не стал долго ждать и сам объяснил:

— Конечно, вашему Пэр Ноэлю нужно время, чтобы прийти из Москвы.

Полюбовавшись на витрины больших магазинов, отправились в кондитерскую.

В кондитерской полным-полно нарядных детей. Сидят, только носы торчат над столом, но едят чинно, щек не замазывают, на скатерть не проливают. Сосед вдруг сконфузился:

— Это ничего, если я тоже сяду? — тихонько спросил он у Кати.

Пирожное выбрал для себя попроще, без крема:

— Я боюсь, что крем шлепнется на пол и они начнут надо мною смеяться...

Сосед оказался самолюбивым. Для спасения своей чести пожертвовал кремом. Сильный характер.

Перед кондитерской ходил по тротуару ряженный Дед Мороз с елочкой в руках. Дети кричали ему свои желания. Матери слушали, кивали головой, — но он-то тут совсем ни при чем. Пэр Ноэль все сам припомнит, кому чего хочется.

Сосед не посмел прокричать свои желания. К тому же их было так много, что все равно не успеешь. Он вообще желал всего, что просили другие дети, да кроме того, и всех тех диковинных штук, кото-

рые были у «Лерюссов». Но конечно, его очень мучило, что он не посмел попросить. И он был очень несчастен. Хорошо, что Катя догадалась в тот же вечер написать русскому Пэр Ноэлю. Тот принесет все, что сможет с собой захватить. Настоящую железную дорогу, которую заказал сосед, пожалуй, не сможет, но барабан притащить нетрудно. И чудесный флакон из-под бриллиантина, наверное, тоже прихватит. Словом, жизнь будет еще прекрасна.

В сочельник вечером востроносые соседовы сестрички живо вычистили свои башмаки и поставили их у камина.

Бедный Поль долго сопел над своими стоптанными и грязными башмачонками. Отчистить их было трудно. Девчонки хихикали, что в такие башмаки можно положить только розгу. Сколько сосед ни крепился, пришлось зареветь. Вся надежда оставалась на русского Пэр Ноэля, который, говорят, и без башмаков приносит подарки. У «Лерюссов» всегда все чудесное.

После праздников произошла катастрофа.
«Лерюссы» уехали.

Он, папа-лерюсс, нашел место. Вот они и уехали.

Сосед получил подарки. Корзинку из-под кота, флакон из-под бриллиантина, четыре восковые спички, чудную граненую пробку от разбитого графина и карманное зеркальце, которое может, по словам Кати, пригодиться, когда сосед женится. Для молодой жены.

Сосед долго не понимал, что «Лерюссы» уехали окончательно, и по утрам по-прежнему подходил к их двери и громко кричал:

— Скорэ тшаю!..

Но как-то дверь на его крик открылась, и сердитая пожилая дама спросила его на обыкновенном французском языке, зачем он кричит, и велела сейчас же идти домой.

Тогда сосед понял, что все кончено, и присмирел.

Он никогда ни с кем не говорил о «Лерюссах», об этих странных и чудесных существах, которые пели, когда у них не было денег, угощали, когда нечего было есть, и завели клетку для канарейки, которой не было.

Он скоро забыл о них, как забываются детские сказки.

Дольше всего держался и звенел в памяти мотив песенки про Дунюшку и лесок.

— Ду-у-у-ду... — мурлыкал сосед.

Но слов уже не помнил.

СОДЕРЖАНИЕ

Проворство рук	5
Курорт	9
Взамен политики	13
Веселая вечеринка	18
Игра	28
Даровой конь	31
Переоценка ценностей	36
Политика воспитывает	40
Семья разговляется	44
Нянькина сказка про кобылью голову	50
Политика и наука	55
Утешитель	60
Корсиканец	63
Дача	67
К теории флирта	72
Святой стыд	76
Факир	83
Ревность	90
Арабские сказки	95
Маски	101
Разговоры	105
Французский роман	109
Неделикатности	115
Когда рак свистнул. <i>Рождественский ужас</i>	119

Репетитор	126
Публика	132
Бабья книга	138
Пасхальные советы молодым хозяйкам	142
Трагедия счастья. <i>Осенний рассказ</i>	146
Дураки	151
1-е апреля	157
Визитерка	160
Долг и честь	164
Письма	169
Счастливая любовь	174
Тонкая штучка	180
Демоническая женщина	184
Сладкая отравка	188
Вдова	192
Американский рассказ	196
Жизнь и темы	199
Страшный гость. <i>Американский рождественский рассказ</i> ..	203
Гедда Габлер	209
Крепостная душа	213
Исповедь	218
Явдоха	223
Дэзи	229
Время	234
О вечной любви	241
Жених	248
Банальная история	255
Чудо весны	263
Атмосфера любви	270
Мудрый человек	277
Виртуоз чувства	284
День	291
«Ке фер?»	295

Кука	299
Жанин	307
Три правды	311
О нежности	317
Трубка	331
Сосед	339

Тэффи

Т 97 Трагедия счастья : рассказы / Тэффи. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 352 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-13157-6

Надежда Александровна Лохвицкая — знаменитая Тэффи — одна из самых ярких фигур русской литературы начала XX века. Уже после первого сборника юмористических рассказов, увидевшего свет в 1910 году, Тэффи приобрела колоссальную популярность, не утихающую до сих пор. Зощенко писал о ней: «Ее считают самой занимательной и „смешной“ писательницей. И в длинную дорогу непременно берут томик ее рассказов». Юмористическими рассказами Тэффи зачитывались буквально и во дворцах, и в хижинах. Ее талант высоко ценили лучшие писатели-современники наряду с простыми обывателями, которых Тэффи так любила выводить в своих историях.

В настоящее издание вошли лучшие рассказы Тэффи разных лет.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ТЭФФИ

ТРАГЕДИЯ СЧАСТЬЯ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Станислава Кучепатова, Лариса Ершова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 30.08.2018. Формат издания $75 \times 100 \frac{1}{32}$.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 15,5. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.rф
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



Y-AKB-21306-02-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/